



МАРИЯ ШКАПСКАЯ

СТИХИ

MARIA SHKAPSKAYA

POEMS

**INTRODUCED BY
BORIS FILIPOFF
AND
EVGENIA ZHIGLEVICH**

**OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
London 1979**

МАРИЯ ШКАПСКАЯ

СТИХИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

БОРИСА ФИЛИПОВА

И

ЕВГЕНИИ ЖИГЛЕВИЧ

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD

London 1979

This edition first published in 1979
by Overseas Publications Interchange Limited
40 Elsham Road, London W14 8HB, England

©1979 by Overseas Publications Interchange Limited

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or translated,
in any form, or by any means, without permission.

ISBN 0 903868 19 9

Cover design by E. V. Zhiglevich
Обложка работы Е. В. Жиглевич

Layout by Adam Usher and Oscar F. Heini
Оформление — Адам Ашэр и Оскар Ф. Гейни

Printed in Great Britain
by A. Wheaton & Company Limited
Hennock Road, Marsh Barton Trading Estate, Exeter

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

О ЗАМОЛЧАННОЙ

Несколько слов о поэзии Марии Шкапской

Что такое история литературы? Особенно литературы нашего века, — так, как подается она в СССР? — Официальная четырехтомная история русской советской литературы, за немногими исключениями, это очерки о тех писателях, которых никто не читает. Панферовы и Фурмановы, Серафимовичи и Гладковы, — стоит ли перечислять всю ту графоманскую макулатуру, которой набиты советские истории советской литературы. Но найдите там очерк о Мандельштаме, главы о Клюеве или Заболоцком. До недавнего времени не было очерка и об Ахматовой...

Окончательно замолчана и Мария Михайловна Шкапская (1891 — 1952). Дважды мелькает ее имя на страницах новой четырехтомной истории советской русской литературы — и то второй раз — как об очеркистке, газетном работнике. В 1968 году вспомнили ее, издали в Москве книгу Шкапской, но, конечно, не стихов, а... газетных путевых репортажей, глав из истории завода им. Маркса, очерков советского строительства... И в предисловии к этой книге, приводя хвалебный отзыв М. Горького о первом сборнике стихов Шкапской, прямо говорится, что „не является ли столь высокая оценка никому не известной теперь книги преувеличением...?“

А, вместе с тем, Марию Шкапскую как поэта приветствовали столь полярно противоположные писатели, как Максим Горький и о. Павел Флоренский, не знавший, кому из трех крупнейших поэтов-женщин нашего века отдать предпочтение — Марине Цветаевой, Анне Ахматовой или Марии Шкапской. По силе и эмоциональной насыщенности — при

предельной краткости — Флоренский ставил, пожалуй, на первое место Шкапскую. Правда, тогда не было еще ахматовских *Северных элегий* и *Поэмы без героя*... А Горький писал Шкапской в январе 1923 года, прочитав первую книжку ее стихов: „Вы, повторяю, на новом и очень широком пути. До вас женщина еще не говорила так громко и верно о своей значительности“.

Как поэт Шкапская прожила недолгую, но яркую жизнь: последние ее стихи были опубликованы в 1926 году, а в конце 1925 года она стала разъездным корреспондентом „Вечерней Красной Газеты“ в Ленинграде, затем посвятила не один год истории завода им. Карла Маркса — на эту завлекательную работу ее сосватал Максим Горький (кстати, эта многолетняя работа Шкапской так и не была опубликована, кроме нескольких фрагментов из нее) . И газетный репортаж убил поэта. Репортаж ведь в СССР — это не только информационная работа, а и так называемая работа „общественная“. Недаром писал Шкапской Давид Заславский: „Вы любовно наблюдательны. Вы ходите среди новых людей, явлений, присматриваетесь и гладите их с материнской лаской... Это уже мало для Вас, как для советского очеркиста. Надо сделать еще шаг, и стать хозяином: не только гладить, но и ударить, и вмешаться, и прикрикнуть“. Смогла ли „ударить“ и „прикрикнуть“ Шкапская — сказать трудно. Но стихов она больше, как будто, не писала. И, во всяком случае, не печатала.

Темы стихов Марии Шкапской в основном ограничены кругом переживаний жены-любовницы-матери. Любовь, зачатие, беременность, аборт, смерть ребенка, ревность — „женская Голгофа“: „.... Познав любви пленительный Эдем, родить дитя неведомо зачем“ (*Кровь-руда*) . Но при небольшом многообразии тем поражает сдержанная сила их творения в стихи:

Было тело мое без входа и палил его черный дым.
Черный враг человеческого рода наклонялся хищно над ним.

И ему, позабыв гордыню, отдала я кровь до конца,
за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица.

(Читатель должен простить меня: говорить о поэте — это показывать его, а не рассказывать о нем. Тем более, когда поэт этого не знают или позабыли. Отсюда — обилие цитат.)

Мало кто писал на эти темы. Писали о ж е н с к о м не мало, но мало женщин-поэтов воспевали, скажем, беременность. А Шкапская писала:

О, тяготы блаженной искушенье, соблазн неодолимый зваться „мать” и новой жизни новое биенье ежевечерне в теле ощущать.

По улице идти как королева, гордясь своей двойной судьбой. И знать, что взыскано твое слепое чрево и быть ему владыкой и рабой, и твердо знать, что меч Господня гнева в ночи не встанет над тобой.

И быть как зверь, как дикая волчица, неутоляемой в своей тоске лесной, когда придет пора отвоплотиться и стать опять отдельной и одной.

Пусть любимый изменяет с другими, но если он, „в угаре пламенных страстей”, и „много им отдал тела”, то Шкапская с гордостью заявляет:

Но матерью своих детей ты ни одной из них не сделал.

Ибо есть любовь и любовь. Не может женщина примириться, „чтоб быть могли зачатъа безлюбовны и их не метил страшный Божий знак” —

Кто уравнил жену в правах с рабыней? Какой еврейский страшный Бог хотя на миг один позволить мог, чтоб были равны в сыне — Агарь, бредущая в пустыне, и Сарра, легшая меж мужних ног.

И — смерть ребенка — или рождение мертвого:

Только в сердце твой тихий след,
Плоть от плоти, от жилок жилка.

Все это — из первой книжки стихов — *Mater Dolorosa* (1921), той, которую приветствовал Горький. Но он, Горький, ждал, что Шкапская перейдет к теме материнства еще и „расширительно“, как к „матери мира, матери всех великих и малых творцов... новой жизни“, а Шкапская оставалась и в книгах *Кровь-руда* (1922), *Барабан Строгого Господина* (1922), и в других своих стихах все той же „умной плотью“, да еще и с неким элементом „религиозного дурмана“... Зато опекал Шкапскую Александр Блок.

Пара за парю — муж с женой,
В любовном танце один с другой.
Вчера родили и вновь зачнем,
И вновь родим — и жизнь наша в том.
Уроним семя и плод сберем,
Мы ветер сеем и бурю жнем.

(*Барабан Строгого Господина*)

И Бог — Строгий Господин, — и блюдет строгий закон крови-руды — наследственности — непереклонный завет: любви-отцовства-материнства, непреложных, неосознанных даже традиций и позывов:

Старые мои, мои мертвые, глаз ваш слеп и язык ваш нем, и черты ваши полуистертые не хранятся никем.

Но кровь вашу непрерывную хранит моя бедная плоть и ей вашу власть неизбывную — не обороть.

(Там же)

Господь („Лукавый Сеятель“) стережет „зачатные часы“ („Скудные, хилые, слабые, человеческие семена, хозяйка хорошая не дала бы нам для посева такого зерна“):

Но помню, чуткая, и — вся в любовном стоне, в объятьях мужниных, в руках его больших — гляжу украдкой в широкие ладони, где Ты приготавлишь их — к очередному плотскому посеву — детенышей беспомощных моих, — слепую дань страданию и гневу. *(Там же)*

Голым, беспомощным, беззащитным брошен человек в жизнь, но мы „все помним о древнем рае“, но все-таки эта жизнь наша — тоже отблеск отринутого рая, и поэтому какая непроглядная трагедия — аборт:

Да, говорят, что это нужно было... И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смирая, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая — не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая.

Вновь по-язычески, за жизнь своих детей приносим человеческие жертвы. А ты, о Господи, Ты не встаешь из мертвых на этот хруст младенческих костей!

(Mater Dolorosa)

И — „видно́ виновной матери — не уснуть!“ Но мать не только взывает к Богу („Господи, разве не встала я, егда Ты ко мне воззвах?“), она и не хочет часто Бога, пока занята детьми своими, своей семьей:

Христос, не заходи, пройди мой мирный дом.
Пусть сердце жаждало пришествия Господня:
Прошу настойчиво с молитвой и стыдом —
Когда-нибудь потом, но только не сегодня.
Не Марфой скромною — теплее и родней,
Марией пламенной Тебя хочу я встретить.
А нынче, Господи, властителями дней
Твои соперники — мои малютки-дети.

Но вот когда „покинув мать и дом, уйдут на волю дети“, тогда —

Я в скромный этот дом тогда Тебя введу
И будет долог день и в вечер канут тени... *(Там же)*

Жена-возлюбленная-мать. Кровь-руда-любовь-ревность-отчаяние. Все это заслоняет Бога, все это не дает тишины, а ведь Бог, как говорили Отцы Церкви, есть Начальник Тишины. Но изъязвленная душа кричит:

Я верю, Господи, но помоги неверью. В свой дом вошла и не узнала стен. В свой дом вошла и не узнала двери. И вот — не встать с колен.

И дети к сердцу моему кричали, но сердце отступило прочь. У яростной моей печали сам Бог не мог помочь — мой муж меня покинул в эту ночь.

(Барабан Строгого Господина)

Легче обратиться не к Богу, а к Богородице, ибо

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, кем на этом свете слезы источены. *(Там же)*

Против же Отца Небесного — иногда и бунт:

- „Что ты там делаешь, старая мать?“ —
- „Господи, сына хочу откопать,
Только вот старые руки мои
Никак не осияют черной земли“. —
- „Старая мать, неразумная мать,
Сын твой в Садах Моих лег почивать“.
- „Господи, я только старая мать,
Надо бы прежде меня было взять“. —...
- ... „Сможешь ли землю заставить опять
Матери милое тело отдать?“ —
- „Дух его — Мне, а земле только плоть,
Надо земное в себе обороть.
Что же ты делаешь, старая мать?“ —
- „Господи, сына хочу откопать“. *(Там же)*

Если Богу не может простить мать смерть сына, то тем паче не может простить революции. На зверскую расправу с царевичем Алексеем Шкапская, давняя участница революционных кружков, политическая эмигрантка 1910-ых годов, имела мужество откликнуться стихотворением

Людовику XVII

... Народной ярости не внове
Смириться страшною игрой, —
Тебе, Семнадцатый Людовик,

Стал братом Алексей Второй.
И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Миллионы каждый год ребят,
За их отцов разгул кабацкий;
И за покрытый кровью шлях...
... Но помню горестно и ясно —
Я — мать, и наш закон — простой:
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той. (*Там же*)

Через многие годы, искренне или поневоле „перековавшись“, она называла все эти старые свои стихи „бегством в лирику“, но тогда, не очеркист, не будущая — по заданию ЦК КПСС — участница Антифашистского комитета советских женщин, а поэт, самобытный поэт, она не только понимала всю тяготу „крови-руды“, передающейся из поколения в поколение, но и резко отталкивалась от проливаемой во имя ли революции, во имя ли Белой идеи — этой самой крови-руды. В том же *Барабане Строгого Господина*, а через год, в 1923 г., отдельным изданием выходит ее поэма *Явь* — о публичной казни большевика:

Было это на Петра и Павла,
А потом еще три дня висел он,
И ходили мимо православные
Без дела и с делом,
К обедне, ко всемошной, к вечерне,
И бухал колокол медный...

Мать-жена-возлюбленная — настоящая женщина, да еще поэт Божьей милостью, — она не приемлет казни, убийства, пролития крови...

Женщина вся от мужа: хочет он, и она останется вечно юной, как сосна, которую питает свежая вода.

Закрываются пруды от солнца желтыми кувшинками, но уйдет вода из пруда, и кувшинки падают на дно, в скользкую тину.

Муж как вода, жена как кувшинка. Как могу я жить теперь, если муж мой меня покинул?

— Это — из изящной книжечки *Ца-Ца-Ца* (1923): „Она была русская, он китаец. Оба жили в Париже, и их русско-китайские сношения велись на французском диалекте...”

Мария Шкапская — петербуржанка. Да, потом она долго жила и в Москве. Но стихи ее чаще всего, если они не на ее основную тему, вдохновлены городом на Неве:

Петербуржанке и северянке люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливают неводской водой.

Знаю — будут любить мои дети неводский седобородый вал, оттого, что был западный ветер, когда ты меня целовал.

(*Барабан Строгого Господина*)

Но Шкапская всегда верна и тут своей теме: пишет ли она о России —

Лежит роженицей на день девятый
Российская осенняя земля...

Пишет ли она о Петербурге, в котором „Россия ждет к себе Петра“:

Он властно женины покровы
Снимает мужнею рукой, ...
И каждой ночью začínает
Она — и носит до утра,
А поутру родит, стеная,
Детей с походкою Петра. (*Там же*)

Молодая „ленинградская“ литературная поросль середины двадцатых годов прозвала Марию Шкапскую „Три В“ („Ведьма-Вакханка-Волчица“); о. Павел Флоренский называл ее подлинно-христианской — по душе — поэтессой. Мне кажется, что есть некоторые основания назвать Шкапскую Василисой Розановой русской поэзии. Ведь когда она подходила и к **плоти** мира и цветению ее — она подходила очень похоже на Розанова (в частности, в *Земных ремеслах*, 1925, — последней книжке ее стихов: не будем уж говорить о *Крови-руде* и *Барабане Строгого Господина*).

Наша литература XIX века, за исключением, впрочем, Достоевского, была слишком интеллигентской. Интеллигенты ведь стыдились как-то плоти, запрягивали ее в потаенные темные углы квартиры, литературы, жизни. Это, конечно, от непросвещенной эпохи Просвещения, из-за отпада от истинно-христианской культуры, которая-то и воскресение чаёт **во плоти**. Поэтому особенно ценно то трагедопатетическое в Шкапской, что пронизывает всю ее лирику: ее попытка **реабилитации плоти** — даже (она, может быть, и сама это неясно сознавала) — **обожения** ее.

Будет время — и не за горами оно! — когда о многих те-
перешних — вчерашних и сегодняшних, читаемых или только
почитаемых — корифеях русской литературы можно будет
узнать лишь в запыленных старых словарях. И читать
будут, и любить будут (пусть читают и любят, а не **почитают!**)
как-раз тех, о ком сейчас или забыли, или замолчали. Среди
них не последнее место займет Мария Шкапская.

Борис Филиппов

ДВЕ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ БЫЛИ ВО МНЕ...

— Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?...

Т ю т ч е в

— Возможно, что над всем и всеми
распростерто огромное материнство,
до которого все мы хотим дорасти.

Райнер Мария Рильке

— И знаю с тоскою в теле, и знаю
с тоской в груди, что это те, что
хотели через меня прийти.

Мария Шкапская

Тому, кто ждет от этих „специфически женских“ стихов голубых девических мечтаний или розовой дамской элегантности, нечего в этой книге искать. Эта книга — красная, кровь-руда. И зачастую черная, — кровь-мертва. Материнское лоно — принявшее и выносившее, принявшее и не выносившее, и — не принявшее, — и в своей силе или бессилье, — плачущее о потерянных возможностях. Какое ходульное слово — потерянные возможности! Вот это-то ходульное слово — потерянные возможности — превращено у Марии Шкапской в стихи, сильные, смелые, кровные и кровавые (да, кровавые, как „мальчики кровавые в глазах“!)

Дни появления на свет ее детей, как здоровых и цветущих, так и нездоровых и бледнолицых (от немощи до здоровья один шаг!), отмечены у матери красным карандашом. Но есть другие пометы, их в календаре никто не найдет, но в сердце черный их след неизгладим и рассасывается только с ним самим. Это день или дни сознательного пресечения

женщиной, при вмешательстве холодной силы со стороны, той жизни, что „стать не возмогла“. Тень несостоявшейся жизни растёт, так же как растут живые дети, — „ему — ей пять лет, двадцать лет...“ Камня нет, могилы нет. Камень только на сердце, незарытая могила — сама мать. Преступник убивает вне себя. Мать же, убивая в себе самостоятельное, но ещё не отделившееся от неё существо, убивает и саму себя.

О счастье (лоно, принявшее и выносившее) человек не рассказывает. Оно само за себя говорит.

О несбывшемся плачут стихи Шкапской.

Как плачет талант, не сумевший себя выразить или выразивший себя неполно. Ему помешали, — жизнь, быт, „судьба“ (а ведь против судьбы только самые сильные идут). Нет того, что быть могло. Или рукопись сгорела, а теперь он стар, ему не вспомнить! Произведение искусства сгорело, изничтожилось, а если и будет новое, — совсем не такое! Мир это понимает, это „духовные ценности“... А человек — разве не дух (из духов двух)? Да, тело, плоть... Но и рукопись — бумага и чернила...

Творческий акт, предшествующий воплощению, так ли уж по существу различен он, любовный и артистический? И который из которого вырастает? Не знаю лучших слов об этом, чем слова Райнера Марии Рильке, чистейшего из чистых:

О если бы человек относился благоговейно к таинству плодотворения, — **единого**, будь оно от духа или плоти; ибо и творчество духовное проистекает из физического, — одной с ним сути, и само оно как бы повтор плотских наслаждений, в обличье более тихом, восхищенном и долговечном. ... наслаждение наше отмечено такой невыразимой красотой и полнотой по одному лишь тому, что насыщено памятью, почерпнутой из зачатий и рождений миллионов

живших до нас существ. В одинокой творческой мысли оживают тысячи канувших в забвение любовных ночей, сообщающих ей величие и высокий строй. Те, что встречаются в ночи и сплетаются в колыханьях наслаждения, творят важное дело, накапливая неисчислимую сладость, глубину и силу для песни неизвестного им будущего поэта, которому дано будет восстать и возвестить несказуемое блаженство. Ими призывается будущее; даже если заблуждаются они сами и объять их слепы, — будущее придет все равно —, новый явится человек, ... Те же, что тайну эту изживают нечестно и дурно (а таких множество), теряют ее только для себя самих и передают ее дальше, сами того не ведая, — передают, как запечатанное письмо. Пусть не смущают вас ни разнообразие имен, ни сложность каждого отдельного случая. Возможно, что над всем и всеми распростерто огромное материнство, до которого все мы хотим дорасти. ...

(Перевод мой с немецкого из книги *Briefe an einen jungen Dichter*)

Вот и об этом — Шкапская: я — душа из душ прошлого, и во мне — души будущего, а воплотиться не всем из них дано. Жизнь жизни помешала. Даже если и не пресекла, — предотвратила. Так сокрушаться может только женщина сильная и та, что не одинока. О том, что было задано много, а сделано мало.

В моих зрачках — глаза поколений, меня породивших, и в моих же глазах — зрачки будущего. Я — звено непрерывной цепи, звено двуликое только тогда, если цепь продолжаю, и обращенное лишь в прошлое, если не продолжаю ее.

Не всем дано и не все могут. И Шкапская, „кровь-руда“, полнокровная мать, всем существом своим жалеет их. „О бедные, ну как помочь вам жить, и темным вечером в пустые ваши руки какое солнце положить?“ Какая колыбельная бесплодия! Такие строки укачивают скорбь тоски непомерной.

Нет, Шкапская — мать не только детям своим. Это то „огромное материнство, до которого все мы хотим дорасти“. Она со-страдает тем, кому не дано: „У старой девушки, озябшей поутру, кровати узенькой холодные простыни“.

Покаянный ее стон о том, кому дано и кто не свершил. Стон и обвинение себя самой. Почему не свершил, почему пресек? Нет натуралистического описания „анатомических театров“ ради самого изображения, есть только крик души, — посмотрите, что получается, посмотрите на содеянное! Плод и ланцет, — каждая (каждый) знает, что это „да“ и „нет“, пульс и безмолвие, полная чаша и пустой цвет.

Книга „специфически женская“, — так ли это? Разве мы не разные (и равные) руки единого тела, только **вместе** слагающиеся в молитву, только **вместе** творящие нового человека. В этой книге мужчина, как редко где, — особенно со-брат, особенно со-творец, особенно равный; не несущий, может быть, только самой, самой последней ответственности, которая остается за женщиной. „За“ и „против“ этой последней ответственности будут подниматься перья публицистов. Мария Шкапская — не публицист; она показывает, что происходит с теми, кто, слыша тайный завет земли, не может его выполнить. Если это голос одной половины, со-трудничающей в творчестве жизни, — без которой не может быть и никакого духовного бытия, — тем самым это голос, наиболее встречный мужчине.

Запретная тема? — Запретных тем не может быть, есть только трудные темы. Все дело в том, как сказать. Если эта тема анатомически низменна, — разве можно говорить о нервной системе и мозговой деятельности, — это тоже часть анатомии. Если эта тема божественна, — это не исключает словесного касания, — ведь слагались же и слагаются песни

самым разнообразным божественным началам.

В русской прозе (в размышлениях, полных сосредоточенности и потому — поэзии) об этом сказал Розанов. И это было встречено во многих кругах протестом. В русской поэзии, впервые и неожиданно для всех, — прозвучал об этом голос Шкапской, голос женщины, — и это было встречено многими еще бóльшим протестом. Голос женщины о своем, неотъемлемом и до боли женском, — не имел права звучать! Опять-таки, как и в случае с Розановым, возмущение разгоралось в кругах наиболее консервативных (неприкосновенная тема!) и в кругах крайне либеральных (уравнение женщины во всем с мужчиной, высвобождение из естественных „уз“ во имя прогресса) .

Родовая тема, развиваемая Шкапской, — одна из главных тем Розанова. И передана она ею с большей страстностью и интенсивностью, чем у него, — через самое себя, через главное, в последней ответственности, действующее лицо, в отличие от со-творца и носителя первичной ответственности. Мария Шкапская как бы младшая сестра Розанова, подошедшая лицом к лицу к основной теме „старшего брата“ и поднявшая эту тему на крутые плечи своей поэзии.

— Какой певучий и огненный меч, пылающий о неповторимости и необратимости!

Евгения Жиглевич



Мария Шкапская

СТИХИ

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

1913-1917

Слова, как пена —
Невозвратимы и ничтожны
(З. Гиппиус)

Ч А С В Е Ч Е Р Н И Й

Б И Б Л И Я

Ее на набережной Сены
В ларце старуха продает,
И запах воска и вербены
Хранит старинный переплет.
Еще упорней и нетленной
Листы заглавные хранят
И даты нежные рождений
И даты трудные утрат.
Ее читали долго, часто,
И чья-то легкая рука
Две-три строки Экклезиаста
Ногтем отметила слегка.
Склоняюсь к книге. Вечер низок.
Чуть пахнет старое клише.
И странно делается близок
Моей раздвоенной душе
И тот, кто счел свой каждый терний,
Поверив, что Господь воздаст,
И тот, кто в тихий час вечерний
Читал Экклезиаст.

М А Г Д А Л И Н А

Был свиток дней моих недлинен,
Греховны были письмамена.
Я путь свершала Магдалинин
И обратилась — как она.

И, как она, ждала смиренно.
 Но не пришел ко мне Христос
 И не коснулся умиленно
 Моих распущенных волос.

И с той поры я дни за днями,
 Творя свой повседневный труд,
 Несу наполненный с краями
 Безмерной горечи сосуд.

ТАЙГА

В какой-то книге — не запомнилось —
 Прочла про белую тайгу
 И с этой ночи не опомнилась
 И сердце стало все в снегу.
 И снятся, мехом оторочены,
 Края беззвучно вставших вод.
 Как тишина сосредоточенно
 По их извилинам течет!
 Упорно вздыбились косматые
 Пушисто-снежные холмы,
 И сосны древние, мохнатые,
 Читают зимние псалмы.
 И все острей, невыразимее,
 И все белей немая даль,
 И с неба все неотразимее
 Спадает снежная печаль.

СКЛЕП

И если бы то, что мы любим —
умереть не хотело —
Любовь умерла бы сама.

(Шелли)

Спускаюсь вниз. И с плит суровых
За мною вслед стекает мгла,
И длинный ряд гробов дубовых
Встает неясно из угла.
Под их охраной глуше, тише
Скрипит встревоженный песок,
И чуть горит в соседней нише
Неугасимый огонек.
Как мира полн приют последний!
Вот если б на рассвете дня
Из сельской церкви от обедни
В такую дверь внесли меня.
Земной тревогой не смущаясь,
Вот так же, как отец и мать,
Родной земли едва касаясь,
В гробу покорно истлевать
И слушать ночью, как размерен
Стук мелких капель с серых стен,
И знать, что крепок и уверен
Могильных плит последний плен.

П О К О Й

Есть в русской природе
усталая нежность.

(Бальмонт)

Мне снятся русские кладбища
В снегу, по зимнему чисты,
В венках стеклянных ветер свищет
И гнет усталые кресты.

Переступивших и достойных
Равняет утренняя мгла,
И так смиренно, так спокойно,
Так много грусти и стекла!

Прилечь, притихнуть, стать, как иней,
Как этот хрупкий, скрипкий снег,
И белых туч на кровле синей
Следить прозрачный легкий бег.

И знать, что скорби и волненья
Сквозь этот снеговой покой
Не тронут скорбного успенья
Своею цепкою рукой.

П А Н О П Т И К У М

Я иду, а длинный ряд двоится,
Заполняя освещенный зал.
Мертвых лиц струится вереница
В отраженьи золотых зеркал.
Каждый день в своей точеной ванне

Умирает раненый Марат,
С каждым днем верней и постоянной
Жанны д'Арк подъятый к небу взгляд.
Как вчера, печальный и влюбленный
Над Психеей вкрадчивый Амур.
Я касаюсь с лаской затаенной
Бледных рук у гипсовых фигур.
В этой жизни — сам живой и тленный —
Дух мой, зыбкий и кипучий вал,
На камнях пучины многопенной
Лишь на миги делает привал.
Вот ему и сладостны, и милы
Плотный камень, гибкий воск и медь,
Все, что может взятый у могилы
Легкий миг в себе запечатлеть.
Оттого люблю я черных мумий
Через вечность чистые черты
И, в минуты тягостных раздумий,
Восковые куклы и цветы.

МУМИЯ

Лежит пустая и простая,
В своем раскрашенном гробу,
И спит над ней немая стая
Стеклоглазых марабу.
Упали жесткие, как плети,
Нагие кисти черных рук.
Вы прикоснетесь — вам ответит
Сухих костей звенящий стук.
Но тело, мертвенному жалу

Отдав живую теплоту,
 Хранить ревниво не устало
 Застывших линий чистоту.
 Улыбка на лице овальном
 Тиха, прозрачна и чиста,
 Открыла мудро и печально
 Тысячелетние уста.
 Лежит пустая и простая,
 В своем раскрашенном гробу,
 И спит над ней немая стая
 Стекланноглазых марабу.

У АНТИКВАРА

Читаю Горация в лавке
 И стыну под легким пальто.
 И стынет со мной на прилавке
 На ширме пастушка Ватто.
 Да сбоку смеется кольчужно
 Изломанный старый доспех,
 И мне торопиться не нужно
 И с ними расстаться не спех.
 А выйду — над Сеной бесстрастной
 Ряды золотых огоньков,
 И будто от жизни сейчасной
 Отстала на много веков.
 И те, кого встречу — чужие,
 И речь их странна и нова,
 И тех, кто ушли и отжили,
 Роднее и ближе слова.
 И завтра с Горацием в лавке

Забудусь под легким пальто,
И будет дрожать на прилавке
На ширме пастушка Ватто.

Л Е Д

Когда мой день печален —
На улицу иду
В кафе, из ваз хрустальных
Куплю немного льду.

Лед дома на тарелку
Тихонько положу,
На мир пустой и мелкий
В тот вечер не гляжу.

Все слушаю — как нежно
И грустно тает лед,
И холод безбережный
Мне в сердце заползет.

Лед скажет мне о новых
Невиданных местах,
О глетчерах суровых,
Об озере в горах,

О реках, заточенных
В печальную тюрьму,
О сосенках, влюбленных
В суровую зиму.

О юноше скитальце
Под снежной пеленой...

И сладко стынут пальцы
Под лаской ледяной.

Растает лед — а вьюжный
Напев в ушах звенит,
И жаркий полдень южный
Не жжет и не томит.

В Е Щ И

„Да, жизнью странною все
комнаты живут“.

(Роденбах)

Меняются люди, но вещи
Стоят на привычных местах.
От этого глубже и резче
Пред ними предчувственный страх.
Погаснут глаза и желанья,
Но лампы в назначенный час
Прольют золотое сиянье
Для новых желаний и глаз.
Другие в знакомые стены
Внесут свою жизнь и уют,
Иные придут им на смену,
А стены стоят и живут.
И знают так тонко, так много
О тех, кто ушел, и о нас,
О том, что для каждого Богом
Положен назначенный час.
Меняются люди. Но вещи
Стоят на привычных местах.

От этого глубже и резче
Пред ними предчувственный страх.

РЕВНОСТЬ

На большую похожа птицу
Из далеких пустынных мест
Будет птица печально биться —
Распластается в жуткий крест.

И глаза у нее больные
И глубокие, как река,
Не дневные глаза — ночные.
И на дне у тех глаз тоска.

Никому рассказать не сможем
О ночах, проведенных с ней.
Только с вечера мы тревожней,
Да на утро встаем бледней.

Но один на другом узнаем
Про ночной истомивший слюб
По запекшейся темной ране
Поцелованных птицей губ.

КОГДА МЫ ОСТАЕМСЯ САМИ С СОБОЙ

Как будто кто-то огромный положил мне на сердце лапу. Написали сегодня из дому, что умер мой старый папа.

Ах, если-б письмо затерялось, если-б про это не зналось!

Но письмо не пропало в дороге, про все рассказало жестоко: как скрипели старые дроги, как нападало снегу глубоко, как бездушно горели свечи, как лежал он важный, нарядный, и как жалко костлявились плечи через старый сюртук парадный.

Но поверить нельзя, невозможно, чтоб, увидев меня, не заплакал, чтобы с жесткого белого ложа мне навстречу не встал бы папа.

И когда бы дитя его билось о гроб и об пол головою, чтобы он над ним не склонился, не сказал бы „Христос с тобою!“, чтоб его любовно не поднял.

Ах, зачем я проснулась сегодня.

* * *

Помнишь, в сказках мачехи давали отобрать горох от чечевицы?

Это очень трудно, но едва ли может с нашей сказкою сравниться.

По крупице в жизненную чашу собираю чечевицу нашу — жатву с нивы жизни сорной. Шла-б работа споро, но упорно сыплешь ты гороховые зерна — зерна недоверия и злобы. А потом — корпим над ними оба.

Ну подумай, что мы Богу скажем в час Его
последней воли? И с какою болью мы покажем
наше незапаханное поле и в суме, откуда
клюют птицы, вместе — и горох и чечевицу?

* * *

Слава тебе, безысходная боль
(Ахматова)

Ах, ступеней было много, длинной была до-
рога. Шла, ступеней не считая, падая и вставая,
шла бы без стона и вздоха, но так устала, но
такая была Голгофа, что силы не стало.

Упала.

Распялась крестом у порога моего сурового
Бога.

И сказалось так больно:

„Господи, разве еще не довольно!“

И ответил Печальный:

„Этой дороге дальней нет ни конца, ни края.
Я твои силы знаю. Я твои силы мерил. Я в твои
силы поверил“.

Сжег мое сердце очами. И был поцелуй
палящий. И лежала в бессильи.

И — у лежащей — за плечами зареяли крылья.

* * *

Громыхали колеса гулко и строго, и гляде-
ли три желтых огня.

Мне надо было спросить у Бога — отступился ли Он от меня.

И упала я, сломленная, упала меж рядами серебряных лент. Но Далекий сжалился над усталой, — отнял память в последний момент. А потом были чьи-то чужие руки, уносившие от полотна. Замерли свистка последние звуки, струйка дыма была видна.

И не знаю с тех пор, не знаю — было ли это чудо? ответ? Случайно ли по пути гуляя, напал чужой на мой след?

Или, может быть, за рукой чужого, за усами его, пахнувшими вином — притаился посланный мне от Бога белый вестник с серебряным крылом.

* * *

Ляжем и втянем голову в плечи — авось не заметит, авось не услышит, в книгу свою не запишет.

Темный и жуткий, к каждой улыбке чуткий, к каждой слезинке жадный, — по ниве людской, ниве страдной, — проходит он днем и ночью. — Видели сами, воочью.

От очей его пламя и темное знамя кровавой звездой расшито. И, как полновесное жито, в подол своей темной ризы собрал дорогих и близких.

Ляжем и втянем голову в плечи, авось не заметит, авось избавит от клятвы, сохранит нас — для новой жатвы.

О, быть покинутым —
какое счастье!
Быть нелюбимым — вот
горчайший рок.
(Кузмин)

СЕРДЦА ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

В маленькой заклеенной загадке,
В розовом конвертике с подкладкой,
С маркой двадцатипятисантимной,
Пишут мне печально и интимно,
Что Володя думает жениться,
Но поедет летом за границу,
Чтоб со мною повидаться снова,
Что сильна, должно быть, власть бывшего.
 Добавляют также осторожно,
 Что жена его совсем ребенок,
 В мужа без ума влюбленный,
 Что ее сломить легко и просто можно.
Чувствую их острые намеки,
Страх и опасенья, чтобы мой далекий
Вновь не стал бы близким и безвластным.
 Пишут мне, как женщине опасной.
Верен их расчет и очень-очень тонок.
 Но того не знают,
 Что не львица светская, — ребенок
Проведет с письмом всю ночь, рыдая,
И о ней, страдающей украдкой,
Не напишут никому интимно
В розовом конвертике с подкладкой,
С маркой двадцатипятисантимной.

* * *

Было грустно наше прощанье и оставило
жгучие ранки. Вечно помнятся — утро в тумане
и грязный коридор в охранке, — такой обле-
злый, серый и длинный; какой-то противный

запах, лица, затянутые паутиной, и руки, как цепкие лапы.

Звяканье шпор за дверью, портреты царского дома и тоска все злей и безмерней... А за дверью голос знакомый.

И потом, меж двумя чужими — дорогое лицо, родное, — холодное и стальное, чтобы себя не выдать перед ними.

Под чьим-то взором упорным, липким — крик безмолвный о вечной разлуке. Глазами к глазам приникли и сломались губы от муки.

Неразумье разлучной боли, желание кинуться следом и — железом ставшая воля, и над болью воли победа.

А потом... потом одиночка и эта нелепая за-граница, чужие французские лица. И нельзя ни рыдать, ни молиться, чтобы час приблизить урочный.

* * *

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино.

(Ахматова)

Он один подходил так нежно, он один не делал мне больно. Его ласка была белоснежной, и ей душа открывалась невольно.

Из одной мы с ним пили чаши. И когда наши губы встречались — узнавали друг друга сердца наши и одним языком перекликались.

Он мог вылечить душу больную. Но ушел он... и за собою опустил решетку стальную между другими людьми и мною.

* * *

В вечность меж нашими встречами вылилось море событий.

Разве не сделались вечными милые тонкие нити?

Встретимся — моря как не было — снова и близость и нежность. Людям ли, жизни ли, небу ли предотвратить неизбежность.

* * *

Он ушел по той же дороге,
Куда уходило вчерашнее.
(Блок)

Я помню о милом скитальце,
Которому имя Тристан.
И вложены скорбные пальцы
В рубцы заживающих ран.
Он был — и ушел, — как уходят
С рассветом в горах облака,
Как каждой весной с половодьем
Уходит большая река.
Но помнят об облаке скалы
(И память легка и жива) ,
И в горных ущельях кристаллы,
И в горных долинах листва.

Пусть реки снесут к океану
Прозрачные воды свои —
Их ложе — раскрытая рана
В груди утомленной земли.

* * *

Как часто на Монпарнассе грежу я вдумчиво
и привычно об Исаакии в темной рясе, о
Библиотеке Публичной.

Возглашаю горькие тосты со своею тоской
всегдашней за Неву с Литейного моста, за за-
думчивую водопроводную башню, и даже
(тоска безмерна) за Предварилку, что на
Шпалерной.

* * *

Как странно — сердце уколото.
И больно — вот здесь, меж плеч.
Как странно — сердце уколото,
А сердца не тронул меч.

Я только сегодня с вечера
Знаю, как ранит тоска.
Я только сегодня вечером
Прочла два белых листка.

Как странно — сердце уколото,
И больно — вот здесь, меж плеч.
Как странно — сердце уколото,
А сердца не тронул меч.

* * *

Как глухо плачет море!
Как даль кругом пуста!
Рассказываю горе,
Прижав к земле уста.
Но спит покров зеленый,
И степь кругом тиха,
И от земли соленый
И терпкий вкус греха.

* * *

Господи, я не могу!
Дай мне остаться чистою,
Дай на Твоем берегу
К верной причалить пристани.

Душен безвыходный плен
Дум моих мертвых, каменных.
Строгих Твоих колен
Дай мне коснуться пламенно.

Сердце, как пламень в снегу.
Сердце с собой не справится.
Снег истлевает, плавится...
Господи, я не могу.

BIBELOTS

СЕРДЦЕ В ВАТКЕ

Положу свое сердце в ватку,
Как кладут золотые браслеты.
Пусть в суровой за счастье схватке
Не следит суеверно приметы.
На победу надежды шатки,
Неудачу пророчат ответы.
Положу свое сердце в ватку,
Как кладут золотые браслеты.

БОТИЧЕЛЛИ

В дни вспышек майских и апрелевых
Гляжу, как в строгий амулет,
На снимки с фресок ботичеллевых,
И в душу сходит тихий свет.

И после сладостной идиллии
Так долго помнятся светло
И руки — сломанные лилии
И веки — бабочки крыло.

ЭСКИЗ

Море — как синий паркет
Панне танцующей — яхте,
В кружево пенных манжет
Камень прибрежный одет —
Польский изысканный шляхтич.

Панны кокетлив поклон...
 Он не ответил, небрежный.
 Смех серых чаек, как стон.
 Плещет по ветру фестон
 Пленных манжет белоснежных.

МЕНУЭТ

В час лунный, час жасминный
 Дворец не спит старинный
 И важно сходит вниз
 По галерее длинной
 Надменный, гордый, чинный
 Напудренный маркиз.

С маркизой Маргаритой
 Под клавесин разбитый
 Танцует менуэт,
 И звонко стонут плиты
 И с сумерками слитый
 Их тонок силуэт.

Наряден вечер званый
 И при луне обманной,
 Кивая головой,
 Танцуют гости странный,
 Намеренно жеманный
 Старинный танец свой.

Присядут, вновь привстанут,
 Так томно па протянут,
 И снова в четкий ряд,

И долго не устанут,
Пока в окно не взглянут
На полный утра сад.

Поклон учтивый длинный...
И ряд танцоров чинный,
И рой блестящих дам,
И сам маркиз старинный
С маркизой кринолиновой
Растают по углам.

Л А Н Ч Е Л О Т

Едва луна украдкой
Серебряной загадкой
Осветит парапет,
Его перилам шатким
Доверится так сладко
Воздушный силуэт.

Спит замок после бала,
От празднества усталый,
И рыцарь Ланчелот
С опущенным забралом
Один притихшим залом
Отчетливо пройдет.

Почтительно склонится,
И будут строги лица
В потоке лунных струй.
И будет ночь томиться,
И долго будет длиться
Прощальный поцелуй.

Рассвет луну оплачет
 И тоненько означит
 Сияющий восход,
 И королева плачет,
 И звонко в битву скачет
 Железный Ланчелот.

БАЛЛАДА

Поднес фиалки даме паж —
 (Весна в лугах дымилась)
 Влюблен был в даму паж — она ж
 О рыцаре томилась.

Мадонне рыцарь посвящал
 Досуги и молитвы,
 Ее обитель защищал
 И пал в разгаре битвы.

Но жизнь в раю была грустна,
 И плакал он о даме.
 Пошла в монахини она
 (А луг пестрел цветами) .

Смеялась жизнь кругом — она ж
 За упокой молилась.
 Фиалки рвал, стеная, паж,
 (Весна в лугах дымилась) .

Взвивались жаворонки ввысь,
 Гоня ночные страхи,
 Мораль — к Мадонне не стремись
 И не иди в монахи.

Ф О Н А Р И К

Как фонарик, свечусь изнутри
И не знаю, как скрыть от прохожих,
Что в кармане открытка и три
Телеграммы, по подписи схожих.

Узко сомкнуто жизни кольцо.
В нем нас двое — и оба у цели.
Засмеяться бы прямо в лицо
Джентельмену в бобровой шинели.

Перечту телеграммы — их три —
И на каждую дважды отвечу.
Как фонарик свечусь изнутри —
Телеграммы с открыткою — свечи.

В Е С Н А

Приползла лукавая, вся талая,
И в угрюмом городе, в камнях,
Распустила слухи небывалые,
Что погибнут улицы на днях.
Что идет веселая, шумливая
Из лесов зеленых и полей
Рать весны, раздольная, гульливая,
Против серых зданий и людей.
Целый день шептала и морочила,
У прохожих путалась в ногах,
Шелестела в скверах олисточенных,
Лошадей пугала на углах.

А под вечер стихла, утомленная,
 Разлеглась на гулкой мостовой,
 К тротуарам сонным, покоренная,
 Прилегла упрямой головой.
 Но мигала до утра пугливая
 Фонарей блестящая гряда
 И дрожала, вся нетерпеливая,
 Под мостами сжатая вода.

В О Д А

Как кровь уходит из синей вены,
 Ушла из плена зловонных труб
 Вода живая с кипящей пеной,
 И город плачет — угрюм и скуп.

Легка, подвижна, к истокам темным,
 К лугам поемным, к седым лесам,
 Течет и плещет, светло-бездомна,
 Сродни и солнцу и небесам.

Сверкает лентой, струей искрится,
 И путь все длится, и мир звенит,
 Взлетает птицей, прыгнет, как львица,
 Ревет в порогах, в болотах — спит.

Пьют ей песни и пьют скитальцы,
 Но тщетно „сжался” иссохших губ,
 И тщетно город вздымает пальцы,
 Сухие пальцы фабричных труб.

MATER DOLOROSA

1921

*Тотику и Атику, моим крохотным
сынишкам, посвящаю я эти стихи.*

„Дорогая тетушка придет с подарками в день Пюджа и спросит: „Где же наш малютка, сестра?“ — „Моя мама, ты ответишь ей нежно, чуть слышно: „Он в зрачках моих глаз, в моем теле и в моей душе“.

(Рабиндранат Тэгор)

Неживое мое дитя,
В колыбель мы тебя не клали,
Не ласкали ночью крестя,
Губы груди моей не знали.

На кладбище люди идут —
Дорогая сердцу задача —
Отошедшим цветы снесут
И живыми слезами плачут.

Обошла бы кругом весь свет —
Не найду дорогой могилки,
Только в сердце твой тихий след,
Плоть от плоти, от жилок жилка.

Неживое мое дитя,
В колыбель мы тебя не клали,
Не ласкали ночью крестя,
Губы груди моей не знали.

* * *

Так время светло протекало
И солнце спускалось так близко
И так горячо целовало
Его ожидавшие ризки.

Под сердцем тепло и несмело
Оно шевелилось и жило.
Но тело, безумное тело,
Родной тяготы не сносило.

Мне травы на крик отвечали
И плакали росы со мною
И узы священной печали
Меня сочetaли с землею.

С тех пор ее зову покорна,
Все слушаю каждой весною,
Как в ней наливаются зерна
Моею печалью и — мною.

* * *

Она проходила сгорбленно
За гробом своих детей
И было лицо оскорблено
И руки детских слабей.

О Боже, будет ли, надо ли,
Свиданье на том берегу —
Но как она шла, не падала,
Никак понять не могу.

* * *

Ведь солнце сегодня ярко
И легче земные ноши,
Но сердце — пустая барка
И груз ее в море брошен.

И мне все больней и жальче
И сердце стынет в обиде,
Что мой нерожденный мальчик
Такого солнца не видит.

* * *

Мы рожаем их в муках сами,
Но берешь Ты их в райский сад.
Разошью цветными шелками
Богородице белый плат.

Ведь в Твои поля без возврата
Раньше дня никто не сойдет.
Если встретишь мое дитя Ты —
Оботри ему смертный пот.

И скажи ему, сжав рученку,
Что Тебе позволила мать
Отошедшему в ночь ребенку
За себя этот долг отдать.

* * *

В землю сын ушел — и мать от земли не
может встать.

Люди думали о нем, как о добром, злом,
большом, — но в укромном уголке знала мать
об узелке, что связал — Велик Господь — при
рожденьи с плотью плоть.

Был он нежный, был родной, был он ей,
лишь ей одной, — нежный теплый голышок,
в теле розовый пушок.

В землю сын ушел и мать от земли не может
встать.

* * *

Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам.

(А. Блок)

Знаю я, что в наш печальный мир
Для того призвал Ты человека,
Чтобы наг, беспомощен и сир
Он бродил от века и до века.

Знаю — он ведь все-б Тебе простил —
Много воли в нашем слабом теле —
Но оставил слишком много сил
В опустевшей детской колыбели.

Знаю — он ведь все-б Тебе забыл,
Но в мозгу настойчивы и четки
На кладбищах маленьких могил
Жалобные, тонкие решетки.

* * *

Дни мои как пустая чаша, всю меня выпил
милый и теперь мне, жаждущей и уставшей,
нечем подкрепить свои силы.

Справилась бы со жгучею жаждой, сердце
терпеливо и звонко. — Милого может заменить
каждый, но кто даст мне его ребенка?

* * *

Быть бы тебе хорошей женою, матерью
детям твоим. Но судил мне Господь иное, и
мечты эти — дым.

По суровым хожу я дорогам, по путаным тропинкам иду. По пути суровом и строгом ненадолго в твоём саду.

Рву цветы и сочные злаки, молюсь имени Твоему. Но ворчат за стеной собаки: — чужая в дому.

А как жаль оставить тебя за стеною... Слезы в глазах — как дым... Как бы я хотела быть твоей женою и матерью детям твоим.

* * *

Было тело мое без входа и палил его черный дым. Черный враг человеческого рода наклонялся хищно над ним.

И ему, позабыв гордыню, отдала я кровь до конца за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица.

* * *

О, тяготы блаженной искушение, соблазн неодолимый зваться „мать“ и новой жизни новое биение ежевечерне в теле ощущать.

По улице идти как королева, гордясь своей двойной судьбой. И знать, что взыскано твое слепое чрево и быть ему владыкой и рабой, и твердо знать, что меч Господня гнева в ночи не встанет над тобой.

И быть как зверь, как дикая волчица, неутоляемой в своей тоске лесной, когда придет пора отвоплотиться и стать опять отдельной и одной.

* * *

Как докажу, что я была любима и что дитя мне за любовь дано? И что лицо мое не черным дымом — огнем в ночи опалено?

Кто уравнил жену в правах с рабыней? Какой еврейский страшный Бог хотя на миг один позволить мог, чтоб были равны в сыне — Агарь, бредущая в пустыне, и Сарра, легшая меж мужних ног.

Чтоб быть могли зачатъя безлюбовны и их не метил страшный Божий знак. И чтобы у детей единокровных был взгляд отцов и тот же мерный шаг?

* * *

Как много женщин ты ласкал и скольким ты был близок, милый. Но нес тебя девятый вал ко мне с неудержимой силой.

В угаре пламенных страстей, как много ты им отдал тела. Но матерью своих детей ты ни одной из них не сделал.

Какой святой тебя хранил? Какое совершилось чудо? Единой капли не пролил ты из священного сосуда.

В последней ласке не устал и до конца себя не отдал. Ты знал? О, ты наверно знал, что жду тебя все эти годы.

Что вся твоя и вся в огне, полна тобой, как медом чаша. Пришел, вкусил и весь во мне, и вот дитя — мое, и наше.

Полна рука моя теперь, мой вечер тих и
ночь покойна. Господь, до дна меня измерь, —
я зваться матерью достойна.

* * *

Станут старше, взрослее дети и когда-
нибудь Лелю и Ате расскажу я о старшем
брате, который не жил на свете.

Будут биться слова как птицы, и томиться
будут объятья. Опустив золотые ресницы,
станут сразу серьезны братья.

И меня безмолвно дослушав, скажут: —
„Как ты его хотела. Ты ему отдала свою душу,
а нам — только тело“.

И тогда только, милый Боже, я пойму, что
всего на свете и нужней и теплей и дороже мне
вот эти, живые дети.

И Тебе покорна и рада, я прощу того, не-
живого, вот за эти Твои лампы, за Тобой
рожденное Слово.

* * *

Христос, не заходи, пройди мой мирный дом.
Пусть сердце жаждало пришествия Господня:
Прошу настойчиво с молитвой и стыдом —
Когда-нибудь потом, но только не сегодня.
Не Марфой скромною — теплее и родней,
Марией пламенной Тебя хочу я встретить.
А нынче, Господи, властителями дней
Твои соперники — мои малютки дети.

Как дни пройдут мои текущие года,
Покинув мать и дом, уйдут на волю дети.
Так, уходя с весной, бурливая вода
Уносит за собой рыбацкий челн и сети.
Я в скромный этот дом тогда Тебя введу
И будет долог день и в вечер канут тени
И буду видеть в небе вставшую звезду,
Обняв Твои вечерние колени.

* * *

Господи, разве не встала я, егда Ты ко мне
воззвах? Ведь я только петелька малая в тугих
Твоих кружевах.

Ведь мы только ягоды спелые в Твоем
лесном туюске, цветы Твои белые в соблюден-
ном Тобой леске.

Твоими ржаными колосьями всходим из
влажной земли в полях нашей скудной родины,
в ее дорожной пыли.

Но зреть под лучами теплыми дай нам
время и срок, чтоб цветы встали в поле
копнами, чтоб колос налиться мог.

До срока к нам не протягивай тонких
пальцев своих, не рви зеленые ягоды, не тронь
колосьев пустых, ткани тугие, нестканные,
с кросен в ночь не снимай.

— Детям, Тобою мне данным, вырасти дай.

* * *

Да, говорят, что это нужно было... И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая — не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая.

Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей приносим человеческие жертвы. А Ты, о Господи, Ты не встаешь из мертвых на этот хруст младенческих костей!

* * *

Не снись мне так часто, крохотка, мать свою не суди. Ведь твоё молочко нетронутым осталось в моей груди. Ведь в жизни — давно узнала я — мало свободных мест, твоё же местечко малое в сердце моем как крест.

Что-ж ты рученкой маленькой ночью трогаешь грудь? Видно виновной матери — не уснуть!

* * *

О, сестры милые, с тоской неуголимой,
В вечерних трепетах и в утренних слезах,
С такой мучительной, с такой неукротимой,
С несытой жадностью в опущенных глазах,

Ни с кем не вяжут вас невидимые нити,
И дни пустынные истлеют в мертвый прах.
С какою завистью вы, легкие, глядите
На мать усталую, с ребенком на руках.

Стекает быстро жизнь, без встречи, но
в разлуке.

О, бедные, ну как помочь вам жить,
И темным вечером в пустые ваши руки
Какое солнце положить?

* * *

Боже мой, и присно, и ныне,
В наши кровью полные дни,
Чаще помни о Скорбном Сыне
И каждую мать храни.

Пусть того, кто свой шаг неловкий
К первой к ней направлять привык,
Между двух столбов на веревке
Не увидит ужасный лик.

Пусть того, что в крови родила,
Не увидит в чужой крови.
Если-ж надо так, Боже милый,
Ты до срока ее отзови.

* * *

„Я люблю мою темную землю“.
(Сологуб)

Земля моя, от Чили до Бретани
И от Плеяд до Южного Креста,
О, древняя, твоих живых касаний
Повсюду ждут иссохшие уста.

Разъятая мечом вражды разящим,
Истерзанная яростью могил,
Ты всех поишь одной животворящей
Росой твоих жизноточащих жил.

Безгневная, в свое немое лоно
Приемлющая жертву и жреца,
Ни от кого в час смертного поклона
Не отворишь недвижимого лица.

Припасть к тебе, как к терпкому причастью,
Мы все сойдем в безмерные поля,
Чтоб стать твоей неотделимой частью,
Владычица и мать моя, земля.

РОССИЯ

„Радуйся, яко крови твоя
капли сладчайшаго паче
меда быша пресладкому
Исусу“.

(Жит св. Варвары В-цы)

Лай собак из поникнувших хижин,
Да вороний немолкнущий крик,
И высоко взнесен и недвижим
Твой иконный неписанный лик.

Ты идешь луговиной степною,
Несносим одичалый твой взгляд
И под жаркой твоею ступнею
Опаленные травы горят.

С непокрытым челом инокия
Невозможших отступных церквей,
Как на смуглых руках твоих стынет
Рудолипкая кровь сыновей.

Потрясая кандалные ковы,
В озареньи вечерних кадил,
Ты влачишь свои вдовьи покровы
Над грядами их тихих могил.

Но Христос Невечерняя Славы
Пречестных твоих мук причащен,
И краев твоей ризы кровавой
Поцелуем касается Он.

И преслаще сладкого дара,
Для ноздрей Его неодолим,
Поминальных твоих пожаров
Терпкий запах и горький дым.

БАРАБАН СТРОГОГО ГОСПОДИНА

1922

**Мы танцуем под барабан Строгого Господина.
(Е. Гуро)**

Пара за парю — муж с женой,
В любовном танце один с одной.

Вчера родили и вновь зачнем
И вновь родим — и жизнь наша в том.

Уроним семя и плод сберем,
Мы ветер сеем и бурю жнем.

А Он, Господин, и мудр и строг,
Для каждого помнит данный срок.

Один младенцем, другой в летах,
Все станем прахом в Его руках.

* * *

Однажды лишь меру кровную отмеривает
Бог. И праведной и греховой истощиться
приходит срок.

А вы, мои деды и прадеды, бабушки в белых
чепцах, — сколько ее растратили в трудных
своих концах.

И в теле последней дочери такой оставили
след, — что пришла моя ранняя очередь без
мало в тридцать лет.

А я в ослеплении осмелилась завязывать но-
вую нить, в новую плоть отдельную скудный
запас излить.

Старые мои, мои мертвые, не коснется вас
плач земной. — Но зачем же такая горькая
власть ваша надо мной?

* * *

Старые мои, мои мертвые, глаз ваш слеп и язык ваш нем, и черты ваши полуистертые не хранятся никем.

Но кровь вашу непрерывную хранит моя бедная плоть и ей вашу власть неизбывную — не обороть.

* * *

Скудные, хилые, слабые, человеческие семена, хозяйка хорошая не дала бы нам для посева такого зерна.

Но Ты из Недобрых Пастырей, Ты Неразумный Жнец. — Всходы поднимутся частые — терн, полынь и волчец.

* * *

Ты стережешь зачатные часы, Лукавый Сеятель, недремлющий над нами, — и человеческими забвенными ночами вздымаешь над землей огромные веса.

Но помню, чуткая, и — вся в любовномestone, в объятьях мужниных, в руках его больших — гляжу украдкой в широкие ладони, где Ты приготавлишь их — к очередному плотскому посеву — детенышей беспомощных моих, — слепую дань страданию и гневу.

* * *

Под шагами тяжкими и важными как былинки впутались они в наши жесткие, многоэтажные, в городские наши дни.

Забываем мы о них неделями и с утра отводим в детский сад, их — невоплощенных Рафаэлями, не таких, что пел Рабиндранат.

Нет у нас чудесных и особенных, и они такие же, как мы, дети той же скудной родины, узники одной тюрьмы.

Как же сделать их могли бы мы непохожими на нас, если не с кем было быть счастливыми матерям в зачатный час.

* * *

Ты стала взрослая и может быть седая, а может быть ты в детстве умерла, но прядь волос как прежде золотая хранится в ящиках отцовского стола, или у матери в внимательном комодке, — живая прядь отрезанная в годик.

Пушай в земле срезавшая рука, пусть белое давно истлело тело, но эта прядь — как старые шелка и пахнет чуточку духами „Isabella”.

Таинственный закон нам в жизни дан. — Где наш смятенный дух и пламень слова гневный? Но многовековой разрыт в степи курган и вьются локоны над скифскою царевной.

* * *

Нет, на путях моих не мне дано
Испить искристое Хиосское вино.

В моих путях запомнить мне велели
Лишь строгие печали Октября
Да маленькие горечи Апреля,
И вот — Страстной мне каждая неделя,
И омраченной — каждая заря.

* * *

Когда стану я старой и скучной и нелюбимой
женой — о том, что так сердце мучит — не
говори со мной.

Будет вопрос мой и будет ответ твой в зна-
ке моем простом: руки на головы детские я
положу крестом.

* * *

Я верю, Господи, но помощи неверью. В свой
дом вошла и не узнала стен. В свой дом вошла
и не узнала двери. И вот — не встать с колен.

И дети к сердцу моему кричали, но сердце
отступило прочь. И яростной моей печали сам
Бог не мог помочь — мой муж меня покинул
в эту ночь.

* * *

Петербургжанке и северянке люб мне ветер

с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки
заливает невской водой.

Знаю — будут любить мои дети невский
седобородый вал, оттого, что был западный
ветер, когда ты меня целовал.

КАНОН БОГОРОДИЧЕН

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, танцующие в балете, стоящие в очереди.

И для всех Она равно светла, Мать Скорбящая, Светило незаходящее, девственная похвала и мост в небо висящий.

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, кем на этом свете слезы источены.

И у ней, Невестной Невесты, Жены Неискусобрачной, просим посев зланный, завтрашний день удачный и благие с дороги вести.

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, чьи усталые веки слезами смочены.

И у Ней, благодатной Жертвы, Матери Восставшего из мертвых — просим для своего ребенка волос тонкий, голосок звонкий и доброе к матери сердце.

* * *

Всё помним о древнем рае
И в память Закрытых Врат
Так крепко мы запираем
Наш храм, наш дом и наш сад.

В плену, но наш плен нам сладок,
Как чайке простор морей.
На лестнице пять площадок,
На каждую семь дверей.

За каждой дверью цепочка,
Французский замок и крюк,
И дверь не отворим ночью
На самый поспешный стук.

И если приходит милый —
Так долго глядим мы в щель,
Что часто теряет силы
Дафнис, Тристан или Лель.

А после мы ловим тщетно
Любви легкокрылый луч,
И тщетно ломаем в клетке
Цепочку и крюк и ключ.

* * *

— „Что ты там делаешь, старая мать?”
— „Господи, сына хочу откопать,
Только вот старые руки мои
Никак не осият черной земли”.
— „Старая мать, неразумная мать,
Сын твой в Садах Моих лег почивать”.
— „Господи, я только старая мать,
Надо бы прежде меня было взять”.
— „Будет твой срок и исполнится день.
Смертная к сердцу наклонится тень”.
— „Господи, рада бы в землю я лечь,
Да будет ли радость чайнных встреч?

Сможешь ли землю заставить опять
Матери милое тело отдать?"

— „Дух его — Мне, а земле только плоть,
Надо земное в себе обороть.

Что же ты делаешь, старая мать?"

— „Господи, сына хочу откопать”.

* * *

Будут нам Паны даны и Христы, ночью
падут освященные росы. Может быть я, может
быть ты, может быть та — в пламенеющих
косах.

Будет избранница, будет корабль в новые
темные воды. — Только однажды светильник
зажгла б — род не прейдет и пребудут народы.

Праха не будет — не станет зерна. Мы, что
в супруги не избраны Богом — прахом возля-
жем по трудным дорогам, где в новые ясли
проходит она.

* * *

Тяжкой десницей и волей Отца
В наших путях неотверзтое небо,
Надо, чтоб Мудрый нам не дал лица,
Надо, чтоб голоса Мудрый нам не дал.

„Слово падет с огневого столба —
Вот Он даруется вам — многоликий,
Вот Он приходит к вам, многоязыкий,
Вот Он — ваш Голос, Лицо и Труба”.

РОССИЯ

1

По степному цветному раздолью,
Пригибая зацветшую рожь,
На какие идешь богомолья,
На какие успенья идешь?
Ты проходишь — и молкнут народы
Перед ликом страданий твоих,
И Христос с опаленного свода
Возникает целебен и тих.
Но к Его умиляющей длани
Не склонив непокорных седин,
О кровавых Своих взысканьях
Говоришь Ты один на один.

2

Лежит роженицей на день девятый
Российская осенняя земля
И озими зеленые заплаты
На зипуне изорваном ея.
Из года в год рождает урожаи,
Насущный хлеб, железную руду и мак,
И груди мощные ее питают
Пшеницу сочную и всякий прочий злак.
О ты, посконная моя Россия,
Ты женщина и Ты — моя сестра,
И я все жду, что ты родишь Мессию
Под осень, в ночь, у дымного костра.

Но Ты родишь лишь жито, да овес,
Да ночки темные, чтоб свой разгул потешить,
И крестбины в лесу справляет леший,
И ветер злой и одичалый чешет
Соломенные пряди кос.

3

Когда над спящею Невою
Серебряный повешен рог
И вечер дымной головою
К камням остынувшим прилег,

И вечно помня о Сионе
Поют куранты до утра,
На старом сером бастионе
Россия ждет к себе Петра.

И он уверенной стопою
Идет, покинув свой собор,
Но не погас упрямый взор
От двухсотлетнего покоя.

Он властно женины покровы
Снимает мужнею рукой,
И долго шопот их любовный
Тревожит крепости покой.

И каждой ночью začínает
Она — и носит до утра,
А поутру родит, стеная,
Детей с походкою Петра.

4

Город спал во сне непробудном
До утра, всю ночь, напролет,
Но работал громко и трудно
В Петропавловской пулемет.

И над нею пели мятели
И гигантская тень Петра
На невероятных качелях
Качалась всю ночь до утра.

И была угрюмая жалость
На страшном Петровом лице,
И с Петром Россия качалась
На доске, на другом конце.

Были руки до крови стерты,
И была живая едва,
И болталась, словно у мертвой,
Седая ее голова.

Но летели качели в тучи
До утра, всю ночь, напролет,
И всю ночь работал трескучий
В Петропавловской пулемет.

5

На рытвинах и на ухабах
В полях, болотах и во мхах,
Стояла каменною бабой,
Когда Господь к тебе воззвах.

И, европейская ошибка,
В ответ ему, Россия, ты
Такой страдальческой улыбкой
Смягчила скифские черты.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

1

Когда сентябрьскую тишь
Колеблют звездные качели —
Каприз изысканный Растрелли,
Ты кораблем в Неве стоишь.

Твой нос — седые бастионы,
А мачтой вознесенный шпигц,
Но не видать матросских лиц
С кормы недвижимой и зеленой.

И вечно с моста Биржевого
Тебе положена чреда:
Ты в новый путь всегда готова,
Но не отчалишь никогда.

2

Замшелых стен седая вязь,
Как не отдать последней чести
И как пройти не поклонясь
Петровой каменной невесте.

Стоишь — на смерть Петру верна,
И вечно горькой крови нашей
К твоим губам поднесена
Неупиваемая чаша.

Л Ю Д О В И К У XVII

1

Я помню с острою печалью
И крыс — отраву детских дней,
Что в чашке глиняной твоей
Тюремный ужин доедали.

И на рубашках кружевных
В конец изорванные локти,
И жалких детских рук твоих
О дверь обломанные ноги,

И лица часовых в дозоре
И Тампля узкий, темный двор,
И слышится мне до сих пор
Твой плач прерывистый и горький.

Но мать к испуганным объятиям
Не простирала нежных рук,
И не ее твой слабый стук
Будил в пустынном каземате.

2

Народной ярости не внове
Смиряться страшною игрой.
Тебе, Семнадцатый Людовик,
Стал братом Алексей Второй.
И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Милльоны каждый год ребят.
За их отцов разгул кабацкий
И за покрытый кровью шлях,
За хруст костей в могилах братских
В манджурских и иных полях.
За матерей сухие спины,
За ранний горький блеск седин,
За Геси Гельфман в час родин
Насильно отнятого сына.
За братьев всех своих опальных,
За все могилы без отмет,
Что Русь в синодик поминальный
Записывала триста лет.
За жаркий юг, за север гиблый,
Исполнен над тобой и им,
Неукоснительно чиним,
Закон неумолимых библий.
Но помню горестно и ясно —
Я — мать, и наш закон — простой:
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той.

ХОЖДЕНИЕ ПО САРАТОВСКИМ
МУКАМ

Как из славного, из богатого,
Из хлебного города Саратова,
 В двадцать первый голодный год
 Начался великий исход
 В места дальние, в места верные,
 Во соседние, во губернии.
 (Вот, Уфимские, мол, не выдадут.)

Шли и кроткие, шли и строгие,
И здоровые, и убогие,
Ивановы, Петровы да Павловы,
Столетние деды да правнуки —
 Младенчики безвинные
 (Пальчики то у них худые да длинные.)

Шли — слезами горючими упивались,
Да с землей-матушкой пререкались —
Ты зачем, мол, нас обездолила,
Ни куста, ни травки — все голенько.
Ведь поля были, а теперь пустынь.
 Господи, не покинь!

Вот дошли — да что то не нравится —
Посередь поля канавица,
А за той ли канавицей водовой
 Народ боевой, —
Со дрекольями, да с вилами —
Собрались видно с силами.
И кричит голодному деревенский брат:
 „Православные, вороти назад“.

И восплакались тут саратовцы:
„Милые люди, милые братовья,
Ведь одному Христу мы молимся,
Под одну святу церковь волимся,
И у вас такие же детушки.
А у нас, вот, нетути хлебушки —
Попущение Божие.
А и мы не какие нибудь — толсторожие —
Трудовой крестьянский народ:
Хлебушко есть — живет,
Хлебушка нет — мрет”.

А уфимские, колья выставив:
„Не дадим, хоть берите приступом.
Коль вас примем —
Сами помрем.
Уходите, такие, сякие, немазанные,
Аль другие пути вам заказаны?”

А в других краях самим есть нечего.
И такими вот новыми предтечами
Не вернулись в деревни отчие —
Полегли на землю и кончились,
Рядышком и кроткие и строгие,
И здоровые и убогие,
Ивановы, Петровы и Павловы,
Столетние деды и правнуки —
Младенчики безвинные
(Пальчики то у них худые, длинные.)

А над ними как водится, —
Плакала в небе Богородица,

Святы ангелы отвратилися,
Святы угодники сомутились,
Сам Христос белой ручкой лицо закрыл —
 Не хватило небесных сил.
А Бог-Отец мимо них похаживал,
Седу бороду поглаживал,
Да твердил все свое, всегдашнее:
 „Искупление земное, нестрашное“.
 А голодные братья в Питере
 Слезы вытерли.

Я в ь

„Слышали? Говорят — завтра?“
„А я думала сегодня“.
„Вот будет давка —“
„Да уж, как водится, на народе“...
„А знаете — все-таки занятно“...
„Говорят вот в Швейцарии так же, публично“...

Объявляли по городу внятно,
И качели поставили у стены кирпичной
У самой паперти соборной —
Место самое видное и — просторно.
Качели как крест без двух оконечий,
А под ними сутулые плечи,
А если на цыпочки встать, да взглянуть,
Виден и язык — так, чуть-чуть.
Вешали долго, трудно, устали,
Часто мать поминали.

Помогал, как мог, сам,
Да только как то ослаб
И кровь текла по усам —
Больно тяжел кулак
У офицеров прохожего эшелона из Брянска
(Били накануне в комендантской) .

И пока нес, и пока шел,
В голове точно кто то завел:
„Прощайте, елочки-соселочки,
„Прощай, отец и мать,
„Прощайте, барышни веселые,
„Не буду с вами гулять”.

Чуть отвяжется — и опять:
„Елочки-соселочки
„Да отец и мать”.

А какие тут отец да мать —
Народу — конца не видать.
Только жена в сторонке
С ребенком,
А другой, постарше, за юбку.
Разрешили взглянуть на последний танец
И ей, и маленьким —
„Только, знаете, чтоб у меня без демонстраций”.
Вот и встала в сторонке под старую акацию,
Стоит,
Молчит,
Только губы белые,
Помертвелье,
И маленький грудь не тербит — пустая.

А там, около, точно волчья стая,
Только и слышно: „Экая обида,
„Ничего не видно“. —
„Эй, пропустите даму“. —
„Мама, мама“.
„Вам видно? А вам?“ —
„Pardon, madame!“
„Ах, какой рваный“.
„Не беспокойтесь, Анна Иванна“.
„Ну что вы, что вы“.
„Офицер-то какой-то новый“.
„Отчего же... Говорят, смерть приятная...“
„Знаете, свежо с утра, я в ватном...“
„А я и Петю взяла,
„Привела,
„Поглядим“.
„Они олово в горло, а вот и им“.
„Детям то не хорошо бы с таких лет,
„Бог знает — какой в душе останется след“.
„Ничего, пускай приучается“.
„Глядите, глядите, качается“.
„Эй, осади“.
„Нахал, говорят — даму пусти...“
„Отдавили ногу...“
„Нет, это, знаете ли, ей-Богу...“

И вдруг голосок звонкий
Неперемогшего ребенка:
„Мамочка!
„Мама!
„Да ведь это он сам,
„Сам веревку дает.

„А они его — по плечу...
„Ой, мамочка,
„Зажми мне рот,
„Я сейчас закричу”. —

И рукой шершавой
Ротишко зажала.
„Молчи, Ванечка,
„Молчи, маленький,
„Молчи, ненько,
„Гляди хорошенько,
„Да запомни,
„Слышишь, — запомни.
„На всю свою жизнь, и память
„Положи как камень,
„Отцовские страсти. —
„И как качался,
„И как по ногам нагайкой —
„И как вот эти смеялись,
„И как вот те на цыпочки подымались,
„И как кресты на церкви не зашатались”.

Тихонечко, на ухо говорила.
И глядела, глаз не отрывая.
Божеских сил не хватило бы, —
Человечьих хватает.

Человечья страшная сила:

И те, и эти,
И какие-нибудь третьи, —
Никого не милуем,
Только — запоминаем.

Было это на Петра и Павла,

А потом еще три дня висел он,
И ходили мимо православные
Без дела и с делом,
К обедне, ко всенощной и к вечерне,
И бухал колокол мерный, —

А он качался, да слушал:

„Припахивает. Сушь ведь.

„Ишь, воронье проклятое...”

„У самого пятеро...”

„Знаете, мы ведь не против революции,

„Мы за конституцию” —

„Вот он — Мессия”. —

„Бей жидов и спасай Россию”. —

„Какой тощий”. —

„Экие ведь звери. Верно нагайкой?...”

„А черниговские мощи?” —

„А киевская чрезвычайка?” —

„Рассчитаемся, пока можно,

„На этом свете”.

„А Божье?” —

„Ну, мы-то что же,

„Начальство ответит”. —

А когда третьи сутки кончились
Летнею темною ночью
Церковные двери отомкнулись,
Царские врата распахнулись,
И пошел из них, словно в крестный ход,
Весь святой народ,
Русские православные святители:

Иван Креститель,

Пантелеймон Целитель,

Никола седенький,
Алексей простенький,
Ипатий с тремя морщинками,
Касьян — редкий именинник,
Убиенный царевич Димитрий
И все Пресвятые Богородицы
Смоленские, Казанские, Володимерские,
Скобрящая, Троеручица, Одигитрия
И другие — без всякого имени.
Шли они — как приявшие схиму,
Подошли к веселой качели,
На синее лицо поглядели,
Да и пали ему в корявые ноги,
Прямо на пыльной на дороге,
Как по самому страшному обету.
И лежали там до самого свету.

А когда утром пришли православные —
Все также качался удушенный,
Также плечи его сутулились, —
Только на церкви кресты пошатнулись.

Ромны, 1919 г.

ИЗРАИЛЮ

Не семь, не семьдесят, и не семьсот —
Тысячелетия ты ждешь своей Рахили,
Взникающий из праха и из пыли,
Взысканием отмеченный народ.
Как Агасфер идешь через пустыни,

Трагическим своим путем влеком,
И полон желчи, крови и полыни
Для губ твоих нескудный водоем.
Ведь дни текут, как огненные капли,
И снова пуст твой дом и восколеблен кров.

И дождь по-прежнему уныло каплет
Над кущами украинских садов,
Где в дни погромов прячут вдоль канав
Головки темные замученные дети —
Наследники страдания и прав
Еще не прореченных в Назарете.
Ты меру мер собираешь в свой ковчег,
О граде видимом так яростно взыскаю,
И чем суровой дней унылый бег, —
Тем жарче жертвенная аллилуйя.

А мы, наследники иных времен и славы,
Потомки рас, не взысканных судьбой —
Завистливо, тревожно и лукаво
Склоняемся перед тобой.

* * *

Не творчеств дни, а умирания.
В них ничего печальней нет,
Что неоконченными здания
Останутся на много лет.

Труд, созидающий строения,
В пустых стропилах не течет,
И силу жадную падения
Не сковывает мерный счет.

Вдоль белых стен в закатном пламени
Маляр веселый не поет,
И не несет суровый каменщик
К вершинам каменный свой гнет.

К лесам закрыты с улиц доступы,
Качается пустая клеть,
И стен оскаленные остовы
Кирпичной плотью не одеть.

КРОВЬ-РУДА

1922

Илье Эренбургу

„Ходила красна девица по жел-
тому песку, садила червонную
розу. Ты, червонная роза, не
примись, ты, кровавая река,
уймись, кровь-руда запекись, —
руда составная, руда жильная,
руда телесная, руда костяная...”

*(Из древних заговоров
на кровь)*

Катающаяся в упругих жилах волны, замкнувшая тяжчайшие ключи, — не любит наша кровь дневного солнца, и по ночам вздымаем мы мечи, и любим жен своих — в ночи.

Бог всех кровей — и темных и червонных, — страшнейшую из кар своих готовь, — отступники древнейшего закона, — мы по земле ступали непреклонно и многую явили свету кровь.

* * *

Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово заканчивает звено.

И только в Ней оправданье темных наших кровей, тысячелетней данью влагаемой в сыновей.

И лишь по Ее зарокам, гонима во имя Ея — в пустыне времен и сроков летит, стеная, земля.

* * *

Веселый Скотовод, следишь, смеясь, за нами, когда ослепшая влечется к плоти плоть, и спариваешь нас в хозяйственной заботе трудолюбивыми руками.

И страстными гонимые ветрами, как листья осенью, легки перед Тобой, — свободно выбранной довольны мы судьбой, и это мы любовью называем.

* * *

Уже нестерпимо дышит над жизнью моей Азраил, но ночью проснусь и слышу шелест невидных крыл, и шопот многих и многих голосов, неслышимых днем, и чьи-то легкие ноги обходят мой строгий дом.

И знаю с тоскою в теле, и знаю с тоской в груди, что это те, что хотели через меня придти.

Но спались крепкие жилы, и кровь холодна и бледна. Темны Азраиловы крылья, приходящая ночь темна.

* * *

Лежу и слушаю, а кровь во мне течет, вращаясь правильно, таинственно и мерно, и мне неведомый нечеловечий счет чему-то сводит медленно и верно.

Алчбой безкрайною напоена струя, ненасытимая в ее потоках хищность, через века сосудов новых ищет — и вот — одним сосудом — я.

* * *

Все течет — от праматери Евы к отягченным вещами дням, через каждое новое чрево, приобщаясь все к новым нам.

Проливаем в любви и сечах, зачиная, родя, творя, нашей кровью заалели реки, и цветут земные моря.

Но течет угрюмо и красно единая с первого

дня, всем дням и векам участна, и нас со всеми
родня.

* * *

Только платье, язык да прическа, да не-
много иное жилье, да на полках Дарвин и Лос-
ский, — но как древне тело мое.

И какие древние тайны в крови бессменной
моей — от первых дней мироздания хранятся
до наших дней.

* * *

Острилось и жгло меня страстное жало, и
в буйном пожаре неистовых дней я древних
детенышей в яме рожала, и им эту чашу с кра-
ями отжала червонной и вспененной крови
моей.

И был нескончаем запас ее красный, и
в ясные ночи и в темные дни вскипала она неу-
емно и страстно, и новые дети родились мои.

Но вот постепенно, скудея с веками, медли-
тельно в плоть докатилось мою, и ныне по-
следние бледные капли я в малые чаши с отча-
яньем лью.

* * *

Ведь были мы первые крепче и выше,
И толще деревья и травы длинней.
И волосы гуще у ночи пушистой,

И руки упруге у кряжистых дней.
И внове готовили звери и люди
Для каждовесенней, для брачной поры,
И чресла тугие, и крепкие груди,
И красную кровь для любовной игры.
Ее проливали и щедро и смело —
Веселых зачатий живое вино,
И в жилах оно и кипело и пело,
И вечное дело родило оно.

* * *

И ели впервые и первые пили,
И первые пилы и первый топор
С разбегу веселые вещи творили
И весело крепкий встречали отпор.
И весело мать для ребенка доила
Впервые от дикой козы и овцы,
И первенца в горном потоке обмыла,
И первый огонь сторожили отцы.
И были подобны веселому зверю.
Как часто я вижу их, первых, во сне,
И вижу костер в полутемной пещере,
И возле костра оплывающий снег.

* * *

Перебираю родовой архив. — Во мне ведь та же кровь — без срыва и без смены, отмщаются до моего колена ошибки бабушек и дедушек грехи.

Их зори кончены, затмились их закаты, но
огнецветный незабвенный след страстей и гнева,
вспыхнувших когда-то, — в крови моей
цветет до этих лет.

* * *

Что знаю я о бабушке немецкой, что кажет
свой старинный кринолин, свой облик выцветший
и полудетский со старых карточек и блекнувших картин?

О русской бабушке — прелестной и греховной,
чьи строчки узкие в душистых *billet-doux*,
в записочках укорных и любовных, в шкатулке
кованной я ныне не найду?

От первых дней и до травы могильной была
их жизнь с краями налита, и был у каждой
свой урок посильный и знавшие любовь уста.

О горькая и дивная отравка! — Быть одновременно
и ими и собой, не спрашивать, не мудрствовать
лукаво и выполнить урок посильный свой:

Познав любви несказанный Эдем,
Родить дитя, неведомо зачем.

* * *

Деды дедов моих, прадеды прадедов,
сколько же было вас прежде меня? Сколько
на плоть мою вами затрачено с древних времен
и до этого дня?

Длинная, трудная, тяжкая лестница, многое

множество, тьмущая тьма, — вся я из вас, — не уйдешь, не открестишься, — крепкая сложена плотью тюрьма.

Ношей тяжелой ложитесь мне на плечи, — строю ли, рушу ли, бьюсь иль люблю, — каплями пота, кровавыми каплями, вы прорастаете в волю мою.

* * *

Встала женою Лота — глаз мне не оторвать. — Зубья стальных решеток, и в седьмой палате кровать.

Быть мне, быть обреченной! Еслиб забыть на миг этот отцовский крик в клинике умалишенных.

Крик этот время мерит, крик мне на кровь клеймом, — знаю — зубастой дверью съест меня желтый дом.

* * *

Elle etait toujours enceinte
(Монмартрская песенка)

О эта женская Голгофа! — всю силу крепкую опять в дитя отдай, носи в себе, собой его питай — ни отдыха тебе, ни вздоха.

Пока иссохшая не свалишься в дороге — хотящие придти грызут тебя внутри. Земные правила просты и строги: рожай, потом умри.

* * *

Я женщиной цвету в полях земных — невзысканной, негромкой и невидной, и мой удел — простой и незавидный (уделов, может быть, для нас и нет иных) : поутру цвести, дать в полдень сочный плод и сникнуть к вечеру — когда роса спадает — с тускнеющих и блекнущих высот.

* * *

Мы были, мы прошли, нас было очень много,
Колосья сникшие под режущим серпом,
Каменья серые по полевым дорогам,
Мы были, мы прошли, земля наш темный дом.

Молчали мы и нас никто не слышал
И не услышим будет голос твой,
Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит —
Стать может Голосом и Судною Трубой.

* * *

Небо Твое придавило, множества давят
Твои, кровь оскудела в жилах, теплота иссякла
в крови.

Осенний конец не страшен, — надо — склонюсь, паду, — колос с июльской пашни, плод в сентябрьском саду.

Но жизнь отнимая в Мае, Садовник и Жнец,
скажи: свет Твой непотухаеи до земной ли
только межи?

* * *

Я тебе плохая жена,
Я тебе плохая слуга,
Я тебе не на то дана —
У меня под прической рога.

На Лысую бы Гору,
В полуночную пору,
В буре да в грозе
На козле иль на козе.

Тяжко мне обед варить,
Обед варить, посуду мыть,
Деточек класть в кровать,
По человеческому толковать.
Завыть бы мне на луну!
Обнять бы в лесу сосну!

* * *

Ой беда мне, беда, беда,
Раскипелась во мне кровь-руда.

Ключа от дверей не дашь,
В трубу улечу на шабаш,
В ступе и с пестом,
И след замету хвостом.

Ой беда мне, беда, беда,
Раскипелась во мне кровь-руда.

По жилушкам как огнем бежит,
В головушке — как шмелем жужжит.

Ой и нечем мне кровушку унять,
Ой и некуда мне силушку девать.

Силушка ли моя птичья,
Долюшка ли моя девичья.

По весне гнездо себе вить,
Гнездо вить, птенец выводить.

* * *

Пока в девушках я хожу,
По колдуньиному ворожу:
 Старому глаза отведу,
 Молодого с ума сведу,
 С ума сведу и сама сойду.
А и молодец — он красив-красив,
Ало яблочко — золотой налив,
Золотой налив — тонка кожица,
Привороженный — со мной ложится.
 А и тут ли конец моей похвальбе,
 А и тут ли конец девичьей ворожбе,
 Колдуньиному колдовству,
 Ведуnyiному ведовству.
До первой они до крови,
До мужеской до любви.
 Ночью молодец сожмет — обоймет,
 Мои девичьи ладонки разоймет,
 Опояшет кругом тесемочкой,
 По рубашечке алой каемочкой.

ЗЕМНЫЕ РЕМЕСЛА

1925

Не жалела я белого тела, слабых сил своих
не берегла, со всеми женщинами в роду я пела,
в тяжелых краснах полотно ткала.

Со всеми мужчинами любила пашню, земные
ремесла, труд и жену. — Пусть это был только
день вчерашний и он давно отошел ко сну.

Немногословно, несуетливо сложились
вместе простые дни, великий опыт земного
утра переплесли за жизнь они.

Немного с каждого, а вместе много, в такую
гору наши труды, что по всем отрогам земного
лога и по всем тропам и по всем дорогам я до-
ныне вижу свои следы.

* * *

Наследующим имя легион, но нам их лет
невидим и неслышим, а как им хочется —
легчайшим и небывшим — облечься в плоть
живую наших жен.

И воздухом, что так тяжел и густ, дышать
у нашего земного моря, и всех плодов земных
— и розовых и горьких — испробовать живой
и теплый вкус.

Не загасив огня и травы не примяв, кладут
на все таинственную мету, но мы их чувствуем
в соблазнах майских ветров и в шелестах
июньских трав.

Бесплотная невидимая стая — свиваясь обла-
ком вокруг любовных пар — колдуют легкие,
умело вызывая и в теле трепеты и на ланитах
жар.

А после сторожат в ночи зачатный час, чтобы
войти и воплотиться в нас.

* * *

Миллионы веков назначенных я томилась
в чужих телах, нагруженных земными задачами
и потом обращенных в прах.

Но кончая свой век коротенький, на закате
земного дня, сыновьям своим или дочери отда-
вали они меня.

Благодарными связана узами, но в себе
этот мир сберегу-ль? От ладьи с драгоценным
грузом передам ли кому-нибудь руль?

* * *

Их много — кротких и прелестных в моем
незнакомом роду, от чьих трудов и дней без-
вестных я родословную веду.

Чьи недра кроткие взрастили огромный
человечий род и чьей богоподобной силе земля
покорная живет.

И если я порой мятежно хочу нарушить
чинный ряд, — из вечности вздымая вежды, —
неумолим их многий взгляд.

* * *

Потомки одной и первой
Для Хеопсовых пирамид

Жилами, кровью, нервами
Крепили подножья плит.

Солнцем и солью томимы. —
На веслах мышцы в лоскут —
Брать Карфаген для Рима
По пятеро в ряд на ют.

Первые рудокопы в Перу,
Финикийцы на первых морях,
И позже — за все веры
Сожженные на всех кострах.

И нынче у рычагов
Руки на рукоятях —
У всех машин и станков —
Между собой — братья.

* * *

Расчет случаен и неверен, — что обо мне
мой предок знал, когда, почти подобен зверю,
в неолитической пещере мою праматерь по-
крывал.

И я сама, что знаю дальше о том, кто снова
в свой черед из недр моих, как семя в пашне,
в тысячелетья прорастет?

* * *

Пускай живет дитя моей печали,
Залог нечаянный отчаянных часов,
Живое эхо мертвых голосов,
Которые однажды прозвучали.

Так черноморских волн прибой в начале
Угрюмой осени плачевен и суров,
Покорствует неистовству ветров, —
Но держится челнок на тоненьком причале.

* * *

Ах, дети, маленькие дети, как много вас
могла-б иметь я вот между этих сильных ног —
осуществленного бессмертия почти единствен-
ный залог.

Когда-б ослеплена миражем минутных цен-
ностей земных, ценою преступленья даже не
отреклась от прав своих.

* * *

Ах, девочка, беляночка Лилит,
Откуда знаю я — какою бы была ты,
Когда велением завистливой Гекаты
До воплощения твой дух был мной убит.
Но мне все кажется — обман не изъяснимый —
Что ты-б возмездием и мерою легла
За то, что девушкой так мало я была,
А женщиной была не до конца любима.

* * *

Как в темный улей черная пчела
Сбираю мед отстойной печали,
И с лука каждого летящая стрела
Меня неуклонимо жалит.

Был горек мне к помазанию елей,
И вот цветы моих земных полей:
У нищей девочки, стоящей на ветру,
Два пальца в варежке — спухающих и синих.
У старой девушки, озябшей поутру,
Кровати узенькой холодные простыни...

* * *

Должно быть, миру уготован такой блистательный конец, что им как сказкой очарован над каждым детищем отец, —

Затем, что сыновья и внуки — для нас для всех входной билет за порцию текущей муки на зрелище грядущих лет.

* * *

Причастницей войду в твою постель, закрыв глаза и открывая губы, и будет медь звенящая и трубы, и закачается над нами легкий Лель.

А после, горестно простерты перед ним, узнаем мы, что жертва неугодна, и будет стлаться горько и бесплодно ее пустой и легковейный дым.

* * *

Нет перед ним ни робости, ни страха, но с детских лет и до седых волос сопутствует нам этот душный запах кровавых женских лоз, цветущих на земном пороге, и из кото-

рых виноградарь строгий нам отожмет потом
искристо и пьяно все человеческое страстное
вино.

* * *

Изысканный приемами лукавец, как испод-
воль замучивая нас, умеешь ты к испытанной
отраве прибавить сладкого любовного вина,
чтоб чаши смертные мы допили до дна к твоей
неугасимой славе.

* * *

Лукавый Сеятель, свой урожай лелея, Ты
пажити готовишь под любовь, их во-время
запашешь и засеешь и в русло нужное всегда
отвести успеешь тяжелую бунтующую кровь.

Здоровую на тучный чернозем, дающий нам
тугие травы, а слабую заманишь Ты лукаво
в пустыню свергнуться бушующим ручьем,
для видимости радости и славы, чтоб иссушить
медлительно потом под солнечным сжигающим
лучом.

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ НА ПАМИР
(ПОЭМА)

Посвящается заводу Сименс-
Шуккерта в Берлине.

I

На самой заре человеческих времен
Под небом нежным и синим, как лен,
На ложе из нежной и свежей хвои
На целой земле их было двое.
Мужчина храбр, суров и груб
Из земной челюсти прорезался как зуб.
Как сосна крепка и плотна,
Верная подруга, его жена.
По ночам осызала теплоту его плеч,
И никто между ними не мог лечь.
Но однажды с охоты пришел он вдвоем,
Острый камень принес он в дом.
Он провертел в нем большую дыру
И прикрепил к своему бедру.
„Пусть будет его место подле меня,
Я с ним охотился в течение дня“.
Жена всю ночь вместо мужних ног
Ощущала граней его холодок.
И яростно утром ногой упругой
Ненавистный камень закинула в угол.
К вечеру боли свели ей спину,
В ночь родила она первого сына.
Но неподвижен, угрюм и груб

Камень, как зверь, залег в углу.
И казалось женщине каждый раз,
Что щурит он злобно свой круглый глаз.
И пугалась она, и, глазами блестя,
Прижимала к груди дитя.
Времени вечен и точен бег,
Камень рос, и рос человек.
Человек развил зренье и слух,
Но и камень, как зверь, не лежал в углу.
Глаз его круглый — подзорной трубою,
Дулом ружья, обращенным к бою,
Жестокое тело — тяжелым жерновом,
Полым котлом, пылающим горном.
Хвост — топором, копьем, лопатой,
Парусом острым в лицо пассатам.
Всем ремеслам и всем наукам
С человеком вместе обучен в муках.
И пока человек крепок и строг, —
Покорным зверем лежит у ног.
Но стоит человеку дать перебой, —
Выгибает спину и вступает в бой.

II

Недаром окна за стеклами,
А стекла за ставнями щурятся,
Когда утром по узкой улице
Шаги отчетливо цокают,
И на фабрику идет один —
Всех вещей создатель и господин.
Чисто расчислен труд:

Час — шестьдесят минут,
Минута — тысяча терций,
И в каждую из этих терций
Машинное бьется сердце.
Человеческое медленнее, но в такт,
Тесен у человека с машиной контакт —
Без измерений и без весов
Восемь или десять таких часов,
Зорек глаз и крепка рука, —
Человек стоит у станка.
Человек не прогнал предутренний сон.
Вертится медленно огромное колесо.
Вертится мерно стальной вал,
Человек небрежно спустил рукава.
Человек, берегись, движенья размерь:
Поднялся на лапы лукавый зверь.
Стальная челюсть крепка у него —
Взмах... крик... ничего...
Кровавая лужа, черное пятно.
Четыре часа пробило давно,
Времени вечен и точен бег, —
С фарбики домой не пришел человек.
И до утра женщина — мать или жена —
В крик кричит у окна.

III

Считают посуду дюжинами,
Аршинами плетется кружево,
Мера для железа и стали — пуд,
Но человеческий труд

Не аршинами, не пудами —
Высчитывается вещами.
И каждая вещь сама мертва,
Но вместе растут, как морской вал.
В земных берегах этот вал кипит,
Воздвигает дома, города, быт.
Руками сделана — замыкая круг
Задаёт работу тысячам рук.
И, швырнув человека последней волной,
На соседа бросает войной.

Чисто расчислен срок,
Каждый учтен курок,
Полк, рота, взвод,
Шаг, взмах, поворот.
Может быть, останешься цел.

С картой каждый обшарен шаг,
Из окопа в окоп шагай, не дыша.

На ружья руки. Верен прицел.
Жалостно визжат под ухом пули.
Человек стал в карауле.
Человек, берегись, человек, наклонись,
Если тебе дорога жизнь!..
Вражья рука верна —
Крик... взмах... тишина...

Ровное поле, деревянный крест.
На карте всех не отметишь мест.
Времени вечен и точен ход.
Человек с фронта домой не придёт,
И той же пулей на-смерть сражена
Мать его или жена.

IV

Как камню идти ко дну,
Как мужчине любить жену,
Как подыматься наверх теплу,
Как треугольнику кончиться в углу,
Так человеку, чтобы не умереть,
Надо победить железо и медь.
Напружены мускулы, собран дух,
Ест на-ходу и спит на-ходу,
С мертвым миром лицом к лицу —
Не до детей отцу.

Чисто расчислен бюджет,
Детям в нем места нет.
Дети, как цветы нежны,
Цветы бойцам не нужны.

Завтрашний день будет светел и ал,
Человек за него детей отдал.
И за это завтра, за святую ложь —
Ложится жена под нож.
В теплую плоть входит ланцет --
Крик... взмах... больше нет...

Легкое тело, раненый взгляд,
Время никогда не идет назад.
Времени вечен и точен ток.
Сорванный не расцветет цветок,
Но дитя в ночи не перестанет звать
Осиротелая мать.

V

Человек идет на Памир,
Но в нем, под ним, и вокруг
Мертвый коснеет мир,
Натруженно туп и туг.
Лопатой землю, воду веслом,
Динамитом о скалы скал,
Искуснейшим ремеслом
Неподатливый металл.
Жадными ртами шахт
Тугую гулкую землю.
Всегда в человеческих руках
Тысячи приемов и систем.
И пусть отдельный умрет, —
Человек всегда идет,
И вечно женщина от своих костей
Дает ему новых детей.
Считай, познавай, мерь,
Пусть встает на дыбы зверь,
Пусть мертвый коснеет мир, —
Человек идет на Памир.

ЦА - ЦА - ЦА

1923

Она была русская, он китаец.

Оба они жили в Париже, и их русско-китайские сношения велись на французском диалекте.

Он знал о русском снеге и белых медведях, она пила китайский чай и собирала китайских божков.

Домой им обоим было нельзя вернуться и с горя она рассказывала ему русские сказки, а он декламировал ей китайские стихи.

Что запомнил он из русских сказок — надо спросить у него, а то, что запомнила она из китайских стихов — записано здесь.

ОДИНОКАЯ, КАК ЖУРАВЛЬ

Истари и до сих пор существует обычай прогонять жену, если она стала стара и некрасива.

Но прежде хоть помещали ее куда-нибудь, а сегодня Вы меня прогоняете, и я не знаю — куда я пойду.

Я не знаю, где моя семья, потому что с Вами устраивала я новую семью.

Я вернусь в то место, где стоял мой дом и буду плакать у чужих ворот.

Помню я дни моего девичества. Слышала я, что Вы богаты и добры, что много у Вас шелковых тканей, на которых золотом вышиты драконы; что проходя по улицам много денег бросали Вы бедным.

В пятнадцать весен я уже решила выйти за Вас замуж. Но волосы наши недолго смешивались на одной подушке.

Вы уехали в путешествие, а я осталась дома одна.

Все другие семьи счастливы, потому что в них и муж и жена вместе.

А я всегда была одна, и когда мне было грустно — некому было меня утешить.

Как в глухом лесу была я в своей комнате, всегда печальная и одинокая, как журавль.

Печаль старит женщину, лицо ее теряет краски, глаза — блеск.

Но я думала, что и Вы печальны в разлуке и ждала Вашего возвращения.

Влажны были от слез покрывала моей постели. Голос мой стал глухим от долгого молчания. Я не красила своих щек, не умасливала волос, и стало лицо мое, как покрытое пылью.

А мысли мои летели через моря и реки в ту сторону, где были Вы.

Но счастливые годы растаяли, как иней: Вы вернулись, а я уже старая.

Вы любили меня пока я была прекрасна — старая же я Вам наскучила.

Останавливаю свои слезы, печальная как осенняя трава выхожу я из комнаты.

Недолго была я в ней счастлива, но много плакали в ней мои глаза.

Немного беру я с собой из Вашего дома: одно только платье да флейту.

Немножко жизни осталось мне, но и ту не знаю я куда мне снести.

Как могла я остаться прекрасной? Ведь и желтые цветы падают осенью в темный пруд. Ведь ветер качает тополя и уносит с них увядшие листья.

Женщина вся от мужа: хочет он, и она останется вечно юной, как сосна, которую питает свежая вода.

Закрываются пруды от солнца желтыми кувшинками, но уйдет вода из пруда, и кувшинки падают на дно, в скользкую тину.

Муж как вода, жена как кувшинка. Как могу я жить теперь, если муж мой меня покинул?

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда был я маленьким — мое сердце удерживало меня в родной деревне.

Я не хотел идти в город, не хотел быть известным, был маленький, толстый, здоровый, и не было в голове моей много мыслей.

Я любил горы, леса и шум ручьев.

Но и я попал в эту западню, поставленную для большого зверя-человека — в город. И был там тридцать лет.

Перелетные птицы всегда думают о родном лесе. Рыба всегда помнит о родной реке. Вот и я вернулся в свою родную деревню.

Она такая маленькая: несколько хижин,

перед каждой персиковое дерево. Как в тумане вижу я соседнюю деревню. На пустой улице лают собаки и поют птицы на деревьях.

Широко открываю двери в свой дом и касаюсь лбом родного порога.

Усталое сердце и отравленный ум принес я из города.

Пусть бы лучше дикий лес моего разума оставался нетронутым и не вырубали бы в нем мощных деревьев для того, чтобы на их месте вспахать это жалкое поле.

Л И У-Л И Н

Лиу-лин, лиу-лин, чему тебя уподобить?

Ты неходишь ни на одну из других шелковых тканей.

Ты как непрерывный серебряный водопад в небесных горах при лунном сиянии.

Ткань твоя, как весенняя земля, покрытая белым туманом, или как цветы, смешанные со снегом.

Лиу-лин, лиу-лин, кто сделал тебя и кто тебя оденет?

Соткала тебя бедная девушка из маленькой деревушки, а оденет тебя первая жена Императора.

Это по ее приказу в этом году на лиу-лин должны быть вытканы треугольники улетающих журавлей цвета весенней воды.

Блестит ткань, блестит узор и все вместе, — как серебряные волны.

Вот стоит дворец первой жены Императора Цю-Ян.

Его полы будут мести шлейфы, стоящие тысячи лан.

Попадает на платье пудра, пачкают его белила и румяна и — раз надев его, выкинут вон.

А чтобы ткать лиу-лин — нужен шелк такой тонкий, что у девушек болят пальцы.

Тысячу раз скажет прялка свое „ца-ца-ца“, а у девушки в руках не будет и одного метра.

Если бы первая жена Императора видела хоть одну девушку за работой, может быть она оценила бы больше свое новое платье из лиу-лин, которая подобна непрерывному серебряному водопаду в Небесных Горах в момент лунного сияния или цветам, смешанным со снегом.

ЧЕРЕЗ МНОГИЕ ВЕРСТЫ

Иду по реке, собираю цветы. Трудно искать их в высокой траве.

Цветы собирают, чтобы кому-нибудь дать. Но кому же я дам их, кому?

Близко — чужие, а родные далеко, только думать о них дано мне теперь.

Вот повернул я в ту сторону голову. Там, далеко, — родная страна, из которой меня изгнали.

Через многие версты, через многие реки,
через многие горы, ее не увижу, никогда не
увижу я.

ТАК И МЫ РАССТАЕМСЯ

Подними голову — погляди в небо: одна за
другою несутся тучи. Едва коснулись и уже
расстались, и уже потеряны одна для другой.

Так и мы расстаемся, так и мы теряемся
в этом мире.

Опусти голову, — посмотри в море: одна
за другою проходят волны. Едва столкнулись
и уже расстались, и уже потеряны одна для
другой.

Так и мы расстаемся, так и мы теряемся
в этом мире.

КАК И ПРЕЖДЕ

Теперь, как и прежде, облака спокойны над
нами, но и теперь, как и прежде, болит челове-
ческое сердце.

Приходим на эту землю на такой короткий
срок. Немножко молимся, немножко плачем
и снова уходим неизвестно куда.

А в горах, как и прежде, щебечут птицы и
журчат лесные ручьи.

Что нам осталось от живших прежде?
Только зеленая трава, да голубое небо.

И как бы ни болело мое сердце — не двинется туман, и мирно дремлют деревья вокруг спящих озер.

Б И — Б À

Широка, глубока река Сюнь-Ян. До самой реки провожаю я моего друга, который привез мне немного родного воздуха.

Он должен уехать, а я должен остаться в чужой стране.

Красные листья на деревьях, и осыпались цветы. Что это за звуки: „са-са-са"? Это осенний ветер свистит в печальных деревьях.

Мы сходим с лошадей и идем к берегу, где стоит лодка моего гостя. На прощанье пьем вино и говорим друг другу красивые стихи. Подняты бокалы, надо пить, но как пить без музыки? А в этой стране нет никого, кто бы играл.

От вина пьянею, но не делаюсь веселым. Разве можно быть веселым, когда надо расстаться?

Река глубока, широка, и в ней утонула луна.

И вдруг где-то тихо-тихо запела би-бà. Звуки словно вышли из спокойной воды.

Хозяин забыл, что ему надо вернуться, гость забыл, что ему надо ехать. Глазами ищем того, кто играет. А би-бà все звенит тихо и застенчиво, словно молодая девушка, когда она говорит с мужчиной.

Вот подъехал челнок, и в нем женщина, закутанная в шаль.

Зажигаем разноцветный фонарь, снова наполняем бокалы. Тысячу раз, десять тысяч раз говорим ей „выйдите к нам“, но она не выходит и прячется за занавески своей лодки.

Наконец вышла она, по-прежнему закутанная в шаль, а под шалью — би-ба.

Она трогает струны. Это еще не песня, но в этих первых звуках уже сквозит ее сердце.

Так печальны, так задумчивы они, точно рассказывают о прошлом, точно жалеют о том, что могло быть встречено, но не встретилось.

Закрывает лицо ее, но она показывает нам свое сердце.

Трогает верхние струны, и говорят они „ци-ци-ци“, точно кто-то говорит тихо-тихо и не хочет чтобы его слышали. Трогает нижние струны, и они рокочут „гоу-гоу-гоу“ подобно торопливому проливному дождю.

А все вместе — будто крупный и мелкий жемчуг, падающий в нефритовый сосуд. То будто летние птицы поют над цветами и листьями, то будто легкие текут ручейки в горах. То смолкнет совсем и вдруг словно разбилась дорогая серебряная ваза и брызгает из нее радостной струей вино. Будто настал час радостной сечи и выскочил воин из засады, звеня оружием за собой.

И река слушает, и челноки на ней замерли, и только посреди реки белая осенняя луна.

Кончилась музыка, встает она со строгим

лицом. Распахнула шаль, и видят ее дорогое платье.

И она рассказывает: „Я дочь знатного мандарина из столицы и с детства играю на би-бе. Целый город знал мои песни. Но умерли мои родители, и я стала играть, чтобы не умереть с голоду. Взял меня замуж купец, который не думал о любви, а думал о торговле и часто меня покидал.

И вот теперь я стара и некрасива, и холоден мой дом, и далеки-далеки мои молодые годы.

И в этот раз — муж уехал за чаем, а я осталась стеречь пустой челнок. Вода ударяла в его края, светлая луна глядела ко мне, воздух был холоден и суров. Я думала о прошлом и стала играть на би-бе”.

Мы молчим и слушаем ее рассказ. И я нагибаюсь к ней, беру ее руку и говорю:

„Как только я услышал би-бу я сказал себе: „вот родная душа”. Услышал шум Ваших слов легкий и острый „Ци-Ци-Ци” и сказал себе: „и она одинока”. Если встречаются одинокие люди — им не надо слов и не надо знакомиться.

Я тоже до прошлого года жил в столице и недавно приехал на Сюнь-Ян. Здесь тихо, пусто и нет музыки. Можно прожить целый год и слышать только жалобный вопль обезьян.

Сыро и пустынно кругом и низок камыш. Только одна птица поет здесь, — птица ду-дзюнь, которая умирает, когда уходит весна.

Расцветают весенние цветы, спускаются

осенние ночи, а я всегда один пью свое вино.

Когда Вы начали играть — Вы рассказали
и свою и мою тоску. Если Вы сыграете еще —
я напишу стихи, которые останутся навсегда''.

Она встает, лицо ее печально, и плачет би-бà.

А я пишу ей эти стихи и не знаю, кто из нас
больше плачет, когда нам надо расстаться.

Выражаем благодарность всем, помогавшим изданию этой книги, особенно же Л. А. Алексеевой-Иванниковой, А. М. Берлин и З. В. Трифунович.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Борис Филиппов. О замолчанной. Несколько слов о поэзии Марии Шкапской</i>	<i>7</i>
<i>Евгения Жиглевич. Две беспредельности были во мне</i>	<i>19</i>

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

Библия	30
Магдалина	30
Тайга	31
Склеп	32
Покой	33
Паноптикум	33
Мумия	34
У антиквара	35
Лед	36
Вещи	37
Ревность	38

КОГДА МЫ ОСТАЕМСЯ САМИ С СОБОЙ

Как будто кто-то огромный	40
Помнишь — в сказках	40
Ах, ступеней было много	41
Громыхали колеса	41
Ляжем и втянем голову в плечи	42

СЕРДЦА ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

В маленькой заклеенной загадке:	44
---	----

Было грустно	44
Он один подходил так нежно	45
В вечность меж нашими встречами	46
Я помню о милом скитальце.	46
Как часто на Монпарнассе.	47
Как странно — сердце уколото	47
Как глухо плачет море!	48
Господи, я не могу!	48

BIBELOTS

Сердце в ватке	50
Ботичелли.	50
Эскиз	50
Менуэт	51
Ланчелот.	52
Баллада	53
Фонарик	54
Весна	54
Вода.	55

MATER DOLOROSA

Неживое мое дитя	59
Так время светло протекало.	59
Она проходила сгорбленно	60
Ведь солнце сегодня ярко.	60
Мы рожаем их в муках сами.	61
В землю сын ушел	61
Знаю я, что в наш печальный мир	62
Дни мои как пустая чаша	62
Быть бы тебе хорошей женою.	62
Было тело мое без входа	63

О, тяготы блаженной искушенья	63
Как докажу, что я была любима	64
Как много женщин ты ласкал	64
Станут старше, взрослее дети	65
Христос, не заходи, пройди мой мирный дом	65
Господи, разве не встала я	66
Да, говорят, что это нужно было	67
Не снись мне так часто, крохотка	67
О, сестры милые, с тоской неуголимой	67
Боже мой, и присно, и ныне	68
Земля моя, от Чили до Бретани	68
Россия	69

БАРАБАН СТРОГОГО ГОСПОДИНА

Пара за парю — муж с женой	73
Однажды лишь меру кровную	73
Старые мои, мои мертвые	74
Скудные, хилые, слабые.	74
Ты стережешь зачатные часы.	74
Под шагами тяжкими и важными	75
Ты стала взрослая и может быть седая.	75
Нет, на путях моих не мне дано.	76
Когда стану я старой	76
Я верю, Господи, но помоги неверью.	76
Петербуржанке и северянке	76
Канон Богородичен	77
Всё помним о древнем рае	77
„Что ты там делаешь, старая мать?“	78
Будут нам Паны даны и Христы	79
Тяжкой десницей и волей Отца	79
Россия:	
1. По степному цветному раздолью.	80

2. Лежит роженицей на день девятый	80
3. Когда над спящею Невою	81
4. Город спал во сне непробудном	82
5. На рытвинах и на ухабах	82
Петропавловская крепость:	
1. Когда сентябрьскую тишь	83
2. Замшелых стен седая вязь	83
Людовику XVII:	
1. Я помню с острою печалью	84
2. Народной ярости не внове	85
Хождение по саратовским мукам	86
Явь	88
Израилю	93
Не творчеств дни, а умирания	94

КРОВЬ — РУДА

Катящая в упругих жилах волны	99
Детей от Прекрасной Дамы	99
Веселый Скотовод, следишь, смеясь, за нами	99
Уже нестерпимо дышит	100
Лежу и слушаю	100
Все течет — от праматери Евы	100
Только платье, язык да прическа	101
Острилось и жгло меня страстное жало	101
Ведь были мы первые крепче и выше	101
И ели впервые и первые пили	102
Перебираю родовой архив	102
Что знаю я о бабушке немецкой	103
Деды дедов моих	103
Встала женою Лота	104
О эта женская Голгофа	104
Я женщиной цвету	105

Мы были, мы прошли	105
Небо Твое придавило	105
Я тебе плохая жена	106
Ой, беда мне, беда, беда	106
Пока в девушках я хожу	107

ЗЕМНЫЕ РЕМЕСЛА

Не жалела я белого тела	111
Наследующим имя легион	111
Миллионы веков назначенных	112
Их много — кротких и прелестных	112
Потомки одной и первой	112
Расчет случаен и неверен	113
Пускай живет дитя моей печали	113
Ах, дети, маленькие дети	114
Ах, девочка, беляночка Лилит	114
Как в темный улей черная пчела	114
Должно быть, миру уготован	115
Причастницей войду в твою постель	115
Нет перед ним ни робости, ни страха	115
Изысканный приемами лукавец	116
Лукавый Сеятель, свой урожай лелея	116
Человек идет на Памир (поэма)	117

ЦА—ЦА—ЦА

Одинокая, как журавль	125
Возвращение	127
Лиу-лин	128
Через многие версты	129
Так и мы расстаемся	130
Как и прежде	130
Би-ба	131

Maoua Uledncheda